



НЕВЫНОСИМАЯ ЛЮБОВЬ

БЕЗУПРЕЧНЫЙ РОМАН
КРИСТАЛЛИНО ЧИСТОЙ СЛОВЕСИ
НИ ОДНОГО ПЯЩЕГО СЛОВА
NEW YORK HONOR OF BOOKS

ИЭН МАКЬЮЭН

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР-ЧЕЛЕНДЖЕР ВСЕХ ВРЕМЕН

Annotation

«Невыносимая любовь» – это история одержимости, руководство для выживания людей, в уютную жизнь которых вторглась опасная, ирреальная мания. Став свидетелем, а в некотором смысле и соучастником несчастного случая при запуске воздушного шара, герой романа пытается совладать с чужой любовью – безответной, безосновательной и беспредельной. Как удержать под контролем остатки собственного рассудка, если в схватке за твою душу сошлись темные демоны безумия и тяга к недостижимому божеству?

Иэн Макьюэн – один из «правлящего триумvirата» современной британской прозы (наряду с Джулианом Барнсом и Мартином Эмисом), лауреат Букеровской премии за роман «Амстердам».

- [Иэн Макьюэн](#)
 - [БЛАГОДАРНОСТИ](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)

- [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [Приложение 1](#)
 - [Приложение 2](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
-

Иэн Макьюэн
Невыносимая любовь

БЛАГОДАРНОСТИ

В первую очередь хотелось бы поблагодарить Рэя Долана, товарища по пешим прогулкам и старого друга, за многолетние плодотворные дискуссии. Также хочу поблагодарить Галена Строусона, Крейга Рейна, Тима Гартона Эша и старшего инспектора Эймона Макэйфи. Неоценимую помощь оказали мне следующие авторы и книги: «О человеческой природе», «Разнообразие жизни» и «Биофилия» Э. О. Уилсона; «Мечты об окончательной теории» Стивена Уайнберга; «Инстинкт языка» Стивена Пинкера; «Ошибка Декарта» Антонио Дамасио; «Моральное животное» Роберта Райта; «Книга о человеке» Уолтера Бодмера и Роберта Макки; «Джон Кит» Роберта Гиттингса; «Уильям Вордсворт. Биография» Стивена Джима.

Вспомнить начало легко. Было солнечно, мы сидели под дубом, укрывшись от сильного порывистого ветра. Я стоял на коленях в траве, держа в руке штопор, Кларисса протягивала мне бутылку – «Дом Гассак» урожая 1987 года. Этот момент – флажок на карте времени: я протянул руку, и когда холодное горлышко и черная фольга коснулись моей ладони, мы услышали крик. Кричал мужчина.

Мы обернулись к полю и увидели, что случилось несчастье. В следующую секунду я уже мчался туда. Время меж этих моментов исчезло: я не помню, как выронил штопор, или как вскочил на ноги, или как принял решение; не услышал, что Кларисса крикнула мне вдогонку. Какой идиотизм – броситься в эту историю, со всеми ее лабиринтами, оставив наше счастье в нежной весенней траве под дубом. Снова раздался крик и – еле уловимый из-за шумящего в кронах ветра – детский плач. Я побежал быстрее. С разных сторон поля еще четверо мужчин бежали туда же.

Я гляжу на нас со стометровой высоты глазами ястреба, что недавно парил над нами, кружил и нырял в бурные воздушные потоки: пятеро мужчин молча бегут к центру большого поля. Я приближаюсь с юго-востока, и ветер подталкивает меня в спину. Слева от меня, метрах в двухстах, бегут бок о бок двое, работники с фермы, чинившие ограду у южного края поля, там, где оно граничит с дорогой. На некотором расстоянии за ними несется Джон Логан, чья машина брошена с распахнутой дверцей или дверцами у кромки поля. Зная то, что я знаю теперь, со странным чувством я представляю напротив себя фигуру Джеда Перри, бегущего против ветра с противоположной стороны от пляжа. Мы с Перри для ястреба – крошечные существа, наши рубашки – ослепительно белые пятна на зеленом фоне, мы, как любовники, несемся навстречу друг другу, не зная, в какие неприятности ввязываемся. До столкновения, которое лишит нас покоя, еще несколько минут, и вся его чудовищность скрыта от нас не только временем, но и колоссом в центре поля; он манит нас с силой, которая непропорционально больше ничтожных человеческих бед.

Что же делала Кларисса? Она говорит, что быстро пошла к центру поля. Не знаю, как ей удалось не бежать. Но к началу происшествия – падению, о котором я собираюсь рассказать, – она почти догнала нас и могла отлично все видеть, не связанная участием, стропами, криками и

фатальной нехваткой взаимопонимания.

Произошедшее сформировалось из наблюдений Клариссы и наших с ней бесконечных обсуждений; укос – вот подходящее определение случившегося в тот день на поле, ожидающем летнего покоса. Укос, второй урожай травы, выросшей после и из-за того, первого, покоса в мае.

Я мешкаю, тяну с рассказом. Я задерживаюсь на предшествующем, ибо тогда еще были возможны другие развязки; с высоты ястребиного полета сближение шести фигур на зеленой плоскости – успокаивающая геометрия, легко узнаваемый символ бильярдного стола. Исходные условия, сила и направление этой силы определяют все последующие траектории, все углы столкновения и отскока, и верхний свет заливает поле, зеленое сукно с движущимися объектами, внося ободряющую ясность. Я полагаю, что до момента встречи наше движение навстречу друг другу было исполнено математического изящества. Я так подробно описываю диспозицию, указывая сравнительные расстояния и стороны света, потому что начиная с того момента я вообще перестал ясно осознавать, что происходит.

Куда мы так бежали? Не думаю, что кто-нибудь знал это толком. Самый простой ответ – к шару. Речь не об условном пространстве, отведенном для реплик или мыслей персонажа комикса; и не о шарике, наполненном горячим воздухом. Это был огромный шар с гелием, природным газом, скованным из водорода в ядерном горниле звезд первым, в начале сотворения многочисленных и разнообразных материй Вселенной, включая нас самих и все наши мысли.

Мы бежали навстречу катастрофе, которая сама по себе была своеобразным горнилом, где личности и судьбы переплавлялись в новые формы. К шару крепились корзины, в ней был мальчик, а рядом цеплялся за стропы мужчина, и ему нужна была помощь.

Не будь воздушного шара, тот день все равно остался бы в памяти, но более приятным воспоминанием – воспоминанием о встрече после шестинедельной разлуки, самой долгой за семь лет нашей с Клариссой жизни вместе. По дороге в аэропорт Хитроу я сделал крюк на Ковент-Гарден и нашел какую-то полулегальную парковку рядом с «Карлуччо»^[1]. Зашел туда и набрал продуктов для пикника, главным лакомством которого должна была стать большая головка моццареллы, которую продавец выудил из глиняной бочки деревянной лопаткой. Еще я купил маслин, готовый салат и фокаччу^[2]. Затем поспешил на Лонг-Акр в «Бертрам Рота»^[3], чтобы получить подарок, заказанный ко дню рождения Клариссы. Не считая

квартиры и машины, это была самая дорогая покупка в моей жизни. Казалось, эта редчайшая маленькая книжечка излучает тепло: выходя из магазина, я чувствовал его сквозь толстую коричневую упаковку.

Через сорок минут я изучал на табло расписание прилетов. Бостонский самолет приземлился только что, и я прикинул, что ждать придется еще полчаса. Если кто-то захотел бы доказательств дарвиновского утверждения, что все проявления человеческих эмоций в общем одинаковы и генетически predetermined, ему хватило бы нескольких минут в четвертом зале прилетов аэропорта Хитроу. Я видел одинаковую радость и одинаковые, неудержимо вспыхивающие улыбки на лицах нигерийской мамыши, тонкогубой шотландской бабушки, бледного, сдержанного японского бизнесмена, когда, толкая перед собой тележки для багажа, в толпе встречающих они вдруг видели знакомую фигуру. Приятно замечать непохожесть людей, но так же радует и сходство. Я стоял и слушал, как с одинаковой падающей интонацией, на выдохе, двое людей произносят имя, пробираясь сквозь толпу, чтобы обнять друг друга. Как это – мажорный второй слог, минор на втором или как-то иначе? Па-па! Иолан-та! Хо-би! Нз-е! Была еще другая нота, тихая, обращенная к серьезным и настороженным лицам малышей их долго отсутствовавшими папами и дедушками, льстивая и умоляющая о немедленном возвращении любви. Хан-на? Том-ми? Узнаешь меня?

Разворачивались и личные драмы: отец и сын-подросток, видимо турки, застыли в долгом безмолвном объятии, может быть, прощая друг друга, а может, скорбя по какой-то утрате; близнецы, дамы под пятьдесят, с явным отвращением приветствовали друг друга касанием рук и поцелуями в пространство около щеки; посаженный на плечи отца, которого он не признал, маленький американский мальчик кричал, чтобы его спустили на пол, к досаде своей усталой матери.

Но в основном вокруг были улыбки и объятия, и за тридцать пять минут я увидел более пятидесяти театральных хеппи-эндов, только каждая сценка была сыграна чуть хуже предыдущей, и, эмоционально опустошенный, я даже детей начал подозревать в неискренности. Я размышлял, насколько убедителен могу быть теперь при встрече с Клариссой, когда она похлопала меня по плечу. Пропустив меня в толпе, она подошла с другой стороны. Моя отстраненность мгновенно испарилась, и я произнес ее имя, не выбившись из общей интонации.

Меньше чем через час мы припарковались у обочины дороги, ведущей через буковые рощи в Чилтерн-Хиллз, что неподалеку от Кристмас-Коммон. Пока Кларисса переобувалась, я сложил припасы для пикника в

рюкзак. Мы пошли по тропинке, держась за руки, еще опьяненные встречей; и привычное в ней: размер и ощущение ее руки, голос, теплый и спокойный, бледная кельтская кожа и зеленые глаза – все было новым, словно озарилось незнакомым светом, напомнившим мне наши первые встречи и долгие месяцы влюбленности. Или, представилось мне, я стал другим мужчиной, соперником, отбивающим ее у меня. Когда я сказал ей об этом, она засмеялась и заявила, что я самый озабоченный дурачок на белом свете; и, остановившись, чтобы поцеловаться и обсудить, не отправиться ли нам напрямик домой, в постель, мы заметили сквозь свежую листву наполненный гелием шар, сонно дрейфующий к западу над поросшей лесом долиной. Мы не разглядели ни мужчины, ни мальчика. Помнится, я подумал, но не сказал, насколько рискованно пользоваться транспортом, подчиняющимся воле скорее ветра, нежели пилота. Затем мне пришло в голову, что, может быть, вся прелесть как раз и заключается в этой естественности. А потом я забыл об этом.

Мы двигались через Колледж-Вуд в сторону Пис-хилла, останавливаясь, чтобы полюбоваться молодой зеленью буков. Каждый лист, казалось, сиял изнутри. Мы говорили о безупречности этого цвета, о весенней буковой листве и о том, как светлеет в душе при взгляде на нее. Мы углублялись в лес, а ветер крепчал, и ветви скрипели, как ржавые. Дорога была нам знакома. Это место, несомненно, красивейшее среди тех, что можно найти в часе от центра Лондона.

Мне нравились склоны и холмы этих полей, покрытых щебнем и известняком; тропинки, что убегают и теряются в темноте среди буков; довольно заброшенные, влажные низины, где густой поблескивающий мох покрывает гниющие стволы деревьев и изредка, мельком, можно увидеть продирающегося сквозь подлесок оленя.

Двигаясь на запад, мы говорили в основном об исследовании Клариссы – о Джоне Китсе, умирающем в Риме, в доме у подножия Испанской лестницы, где он временно поселился со своим другом Джозефом Северном. Возможно ли, что существуют еще три или четыре неопубликованных письма Китса? Могло ли одно из них быть адресовано Фанни Брон? У Клариссы были основания так думать, потому часть годового отпуска, отведенного на научную работу, она провела, путешествуя по Испании и Португалии, разыскивая дома, где знали Фанни Брон и Фанни, сестру Китса. Теперь она возвращалась из Бостона, где работала в Хьюстонской библиотеке в Гарварде, пытаясь разобраться в переписке дальних родственников Северна.

Последнее известное письмо Китса было написано им почти за три

месяца до смерти и адресовано старому другу Чарльзу Брауну. Там он высокомерно бросает – мимоходом, почти в скобках – великолепный художественный образ: «... изучение контрастов, восприятие света и тени – все эти познания (в примитивном смысле), необходимые для поэзии, являются злейшими врагами излечения желудка». Именно в этом письме содержится знаменитое прощание, столь пронзительное в своей сдержанности и учтивости: «Вряд ли сумею с Вами попрощаться, даже в письме. Я всегда так неловко откланивался. Благослови Вас Господь! Джон Китс». Однако биографы единодушны, что Китс писал это письмо во время ремиссии туберкулеза, которая продлилась еще десять дней. Китс посетил виллу Боргезе, прогулялся на Корсо. С удовольствием послушал Гайдна в исполнении Северна; возмущившись качеством стряпни, кинул в окно свой обед и даже подумывал о новом стихотворении. Если письма этого периода действительно существовали, с какой стати Северну или, что более вероятно, Брауну их утаивать? Кларисса считала, что ей удалось найти ответ в нескольких фразах из переписки дальних родственников Брауна в 1840-е годы, но она хотела найти больше доказательств и различных источников. «Он знал, что никогда больше не увидится с Фанни, – сказала Кларисса. – В письме к Брауну он говорит, что даже вид ее написанного имени – больше, чем он может вынести. Однако он никогда не переставал думать о ней. В те декабрьские дни он чувствовал себя достаточно сильным – и он так ее любил! Легко представить его пишущим письмо, которое он и не собирался отправлять».

Я молча сжал ее руку. Я мало знал о Китсе и его поэзии, но допускал, что в такой безнадежной ситуации ему не хотелось писать именно потому, что он слишком любил ее. Позже мне пришло в голову, что интерес Клариссы к этим гипотетическим письмам как-то связан с нашими отношениями и с ее уверенностью в несовершенстве любви, не отраженной в письмах. Первое время после нашего знакомства, до того как мы купили квартиру, она писала мне страстные абстрактные послания, утверждающие исключительность и превосходство нашей любви над всеми существующими. Вероятно, суть любовного письма как раз и заключается в провозглашении уникальности. Я пытался соответствовать ей, но вся доступная мне искренность выражалась фактами, как мне казалось, удивительными: прекрасная женщина любит и желает быть любимой большим, неуклюжим, лысеющим парнем, который с трудом верит своему счастью.

На дороге к Мейденс-гроув мы остановились, чтобы взглянуть на ястреба. Воздушный шар, должно быть, еще раз пролетел над нами, пока

мы шли по лесу, которым поросли низины вокруг заповедника. После полудня мы двигались вдоль насыпи, к северу, по Риджуэй-Пасс. Потом устремились по одной из широких дорог, ведущих от Чилтернских холмов на запад, к плодородным фермам. За Оксфордской долиной угадывались очертания Котсуолдских холмов, а за ними голубоватой призрачной массой поднимались, может статься, Бреконские Маяки^[4]. Мы собирались устроить пикник здесь, где открывался самый красивый вид, но стало очень ветрено. Немного пройдя по полю назад, мы укрылись под дубами у его северного края. Именно из-за дубов мы не увидели, как упал воздушный шар. Позже я размышлял, почему его не отнесло на несколько миль дальше. А еще позже узнал, что на высоте ста пятидесяти метров ветер был совсем не таким, как на земле.

Беседа о Китсе сошла на нет, когда мы достали припасы. Кларисса вынула из сумки бутылку и, держа ее за дно, протянула мне. Как я уже говорил, горлышко коснулось моей ладони, когда раздался крик. Мужской баритон на высокой от страха ноте. Это было начало и, соответственно, конец. Завершилась глава, нет, целый этап моей жизни. Знай я это и имей тогда хоть пару свободных секунд, я позволил бы себе предаться легкой ностальгии. Семь лет нашего бездетного брака прошли в любви. Кларисса Мелон была влюблена еще в одного мужчину, но тут была небольшая проблема – его приближающееся двухсотлетие. Честно сказать, он даже помогал нам, обеспечивая равновесие в перепалках, которые являлись нашим способом поговорить о работе. Мы жили в квартире, стилизованной под ар-деко, на севере Лондона, без особых волнений: нехватка денег около года, испугал неподтвердившийся диагноз рака, разводы и болезни друзей, мои редкие маниакальные приступы недовольства работой, раздражавшие Клариссу, – но в целом ничто не угрожало нашему существованию, полному глубины и свободы.

Вот что мы увидели, оторвавшись от пикника: огромный серый шар в форме капли, размером с дом, опустился на поле. Пилот, видимо, наполовину выбрался из корзины, когда она коснулась земли. Его нога запуталась в веревке якоря. Налетающий порывами ветер то волок по земле, то подбрасывал его, относя шар к насыпи. В корзине остался ребенок, мальчик лет десяти. Внезапно наступило затишье, мужчина встал на ноги, хватаясь то за корзину, то за мальчика. Новый порыв ветра опрокинул пилота на спину и потащил, ударяя о кочки, он же пытался достать ногами землю или схватить якорь у себя за спиной, чтобы вогнать

его в грунт. Даже если бы мог, он не решился бы освободиться от якорной веревки. Своим весом он мог удерживать шар у земли, ветер немедля вырвал бы веревку из рук.

На бегу я слышал, как он кричит на мальчика, торопя его выпрыгнуть из корзины. Но шар тащило по полю, и мальчик падал то к одной, то к другой стенке. Удержав равновесие, он перекинул было ногу через край корзины, но шар поднялся, налетев на бугор, опустился, – и мальчика отбросило на дно. Снова поднявшись, он протянул руки к мужчине и что-то закричал в ответ – не знаю, были то слова или вопль ужаса.

Мне оставалось бежать еще метров сто, когда ситуация стала управляемой. Ветер ослаб, мужчина встал, дотянулся до якоря и воткнул его в землю. Ему удалось и распутать веревку на ноге. Почему-то – из-за самоуверенности, усталости, а может, просто подчиняясь командам, – мальчик оставался в корзине. Неистовый шар колыхался, клонился и дергался, но зверь был усмирён. Сбавив скорость, я, однако, не остановился. Выпрямившись, мужчина увидел нас – по крайней мере, работников с фермы и меня – и призывно махнул. Он еще нуждался в помощи, но я с радостью перешел с бега на быстрый шаг. Работники с фермы тоже прекратили бежать. Один громко закашлялся. Но водитель, Джон Логан, знал больше, чем мы, и продолжать бежать. Что касается Джеда Перри, то его я не видел из-за упавшего между нами шара.

Ветер с новой силой закачал верхушки деревьев, и я сразу почувствовал, как он толкнул меня в спину. Затем ветер ударил по шару, и тот внезапно застыл, прекратив свои невинные комичные виляния. Лишь мерцающие волны побежали по растягивающемуся шару, полному скопившейся энергии.

И она освободилась – разбросав комья грязи, якорь вылетел, и шар вместе с корзиной взлетел метра на три. Мальчика отбросило назад, с глаз долой. Державшегося за веревку пилота приподняло на полметра в воздух. Если бы подоспевший Логан не ухватился за одну из свисающих веревок, мальчика бы унесло. Теперь обоих мужчин волокло по полю, а мы с работниками снова бежали.

Я добежал первым. Когда я вцепился в веревку, корзина уже была над нашими головами. Мальчик внутри кричал. Несмотря на ветер, я чувствовал запах мочи. Через пару секунд другую веревку поймал Джек Перри, сразу за ним ухватились и работники с фермы – Джозеф Лейси и Тоби Грин. Грин заходился в кашле, но не разжимал рук. Пилот выкрикивал какие-то приказы, но уж чересчур неистово, и никто его не слушал. Он боролся так долго, что выбился из сил и был просто не в себе. Впятером

повиснув на веревках, мы удержали шар. Осталось лишь как следует упереться ногами и опустить корзину, что мы и начали делать, не обращая внимания на крики пилота.

К тому моменту мы стояли на откосе. Склон под углом градусов двадцать пять заканчивался небольшим холмиком. Зимой – любимое место для катания на санках у местной детворы. Мы заговорили разом. Двое из нас, я и водитель, предлагали оттащить шар с откоса. Кто-то считал, что главное – поскорее вытащить из корзины мальчика. Еще кто-то хотел спустить шар, чтобы закрепить якорь. Я не понимал, почему бы не опустить шар, одновременно передвигая его на поле. Но победил второй вариант. У пилота был четвертый по счету план, но никому не было до этого дела.

Я должен пояснить кое-что. У нас была некая общая цель, но командой мы не стали. Для этого не было ни времени, ни возможности. Единство времени и места и желание помочь свели нас под этим шаром. Ответственности за происходящее не нес никто – или одновременно нес каждый, – и мы громко спорили. Покрасневшего, потного и орущего пилота мы игнорировали. Он просто излучал некомпетентность. Но свои идеи мы тоже принялись выкрикивать. Думаю, если бы всем руководил я, трагедии бы не случилось. Позже я слышал, как кто-то из остальных говорил про себя то же самое. Но тогда не было ни времени, ни шанса проявить силу характера. Любой лидер, любой четкий план были бы лучше, чем никакого. От охотников-собирателей и до постиндустриализма не существовало человеческих сообществ, известных антропологам, обходившихся без лидера и управления, и еще ни одна критическая ситуация не была разрешена демократическим путем.

Нам без труда удалось опустить корзину, чтобы заглянуть в нее. Но появилась новая проблема. Мальчик лежал на дне, сжавшись в комок, закрыв лицо руками, он судорожно вцепился себе в волосы.

– Как его зовут? – спросили мы у побагровевшего мужчины.

– Гарри.

– Гарри! – закричали мы. – Гарри, давай! Гарри! Держись за мою руку, Гарри. Вылезай оттуда, Гарри!

Но Гарри только сильнее съеживался. Каждый раз, когда мы произносили его имя, он вздрагивал. Наши слова сыпались на него, словно камни. Воля его была парализована; подобное состояние осознанной беспомощности часто бывает у лабораторных животных под воздействием нетипичного стресса – рефлекс, направленные на разрешение проблемы,

исчезают, притупляется инстинкт самосохранения. Мы опустили корзину и удерживали ее так, но стоило нам попробовать наклониться, чтоб вытащить мальчика, как пилот растолкал нас и полез внутрь.

После он утверждал, что комментировал свою попытку. Мы не слышали ничего, кроме собственных криков и чертыханий. Его действия казались нелепыми, но, как выяснилось, идея была здоровой. Он собирался дернуть запутавшийся в корзине шнур, чтобы выпустить газ из шара.

– Придурок! – закричал на него Лейси. – Помоги вытащить мальчишку!

Я понял, что приближается, за две секунды до того, как нас накрыло. Словно экспресс мчался по кронам прямо на нас. Свист и вой достигли предела громкости за полсекунды. В сводке погоды, использованной потом в расследовании, говорилось о порывах ветра, достигавших семидесяти миль в час.

Вероятно, это был один из них, но, прежде чем я позволю ему настигнуть нас, позвольте остановить мгновение – ибо в неподвижности есть некая безопасность, – чтобы описать нашу группу.

Справа от меня откос. Слева, вплотную ко мне, Джон Логан, семейный доктор из Оксфорда, сорока двух лет, жена – историк, двое детей. Не самый молодой, но самый спортивный из нас. Играл в теннис на кубок графства и состоял в клубе альпинистов. Некогда работал в команде спасателей «Вестерн Хайлендз». По-видимому, Логан был мягким, сдержанным человеком, иначе он мог бы заставить нас признать за ним лидерство. Слева от него стоял Джозеф Лейси, шестидесятитрехлетний временный работник на ферме, капитан местной команды по боулингу. Вместе с женой он жил в Уоллингтоне, в маленьком городишке у подножия холма. Еще левее – Тоби Грин, его приятель, пятидесяти восьми лет, неженатый, такой же работник с фермы, живущий в Расселз-Уотер вместе с матерью. Оба они работали в поместье Стонора. Именно Грин кашлял как заядлый курильщик. Следующим в группе пытается залезть в корзину пилот Джеймс Гэдд, пятидесяти пяти лет, руководитель маленькой рекламной фирмы, живущий в Рединге вместе с женой и одним из своих взрослых детей, умственно отсталым. В ходе расследования выяснилось, что Гэдд нарушил половину правил безопасности, равнодушно перечисленных следователем. Его лицензия на управление воздушным шаром оказалась просроченной. Мальчик в корзине – его внук, Гарри Гэдд, десяти лет, из Кэм-Руэлла, Лондон. Напротив меня, справа от откоса, стоял Джед Перри. Ему было двадцать восемь, он нигде не работал, жил на полученное

наследство в Хэмпстеде.

Так выглядела наша компания. Пилот, как мы понимали, уже окончательно отказался от руководства. Мы запыхались, были взвинчены, каждый увлечен своим планом, а мальчик совсем не боролся за жизнь. Лежа на боку, он закрывался руками от мира. Лейси, Грин и я пытались выудить его оттуда, пока Гэдд норовил перелезть через нас, а Логан и Перри выкрикивали разные советы. Гэдд наступил одной ногой внуку на голову, и Грин разразился бранью. Два удара некоего могущественного кулака сокрушили шар – раз и два, и второй удар был хуже первого. Но и первый был ужасен. Он вышвырнул Гэдда из корзины на землю и поднял шар на полтора метра вверх. Немалый вес Гэдда был исключен из уравнения. Веревка рванулась из моих рук, обжигая ладони, но я сумел перехватить ее за полметра до конца. Остальные тоже держались крепко. Теперь корзина висела над нашими головами, мы стояли, подняв руки, как церковные звонари в воскресенье. Никто не успел сказать ни слова, когда в этой изумленной тишине налетел второй удар и метнул шар вверх и к западу. Внезапно мы оказались в воздухе.

Одна или две секунды над землей занимают в памяти столько же, как долгое путешествие по реке, еще не отмеченной на картах. Моим первым порывом было держаться изо всех сил, чтобы своим весом опустить шар. Погибал беспомощный ребенок. В двух милях к западу шли высоковольтные линии. Ребенок один, ему нужна помощь. Я обязан удерживать шар. Я думал, все остальные чувствуют то же самое.

Почти одновременно с желанием держаться за веревку и спасти мальчика, на долю секунды позже, появились другие мысли, в которых слились страх и мгновенные, логарифмической сложности вычисления. Мы поднимались, земля отдалялась, шар несло к западу. Я понимал, что должен ухватиться за веревку ногами. Но веревка заканчивалась чуть ниже пояса, и ноги соскальзывали. Я хватал ногами пустоту. С каждой долей секунды расстояние до земли увеличивалось, в какой-то момент выпустить веревку будет невозможно или смертельно опасно. А сжавшийся в корзине Гарри по сравнению со мной был в безопасности. Шар вполне мог мягко приземлиться у подножия холма. И вероятно, мой порыв держаться за веревку до последнего был не более чем продолжением недавних попыток – сразу признать поражение нелегко.

И тут, прежде чем в следующий раз стукнуло накачанное адреналином сердце, в уравнение ввели новую переменную: кто-то выпустил веревку, и шар вместе с висящими на нем людьми поднялся еще на пару метров.

Я не знаю, не смог выяснить, кто выпустил веревку первым. Я не готов признать, что это был я. Но каждый из нас утверждает, что не был первым. Ясно лишь, что, если бы наш ряд не дрогнул, общего веса хватило бы опустить шар на откосе, когда через несколько секунд порыв утих. Но, как я уже объяснял, мы не были командой, не имели общего плана, не было договоренности, а значит, нечего было нарушать. Никаких невыполненных обязательств. Выходит, все правильно, каждый сам за себя? Сделало ли нас счастливее это разумное решение? Мы не обрели покоя, ведь глубоко в нас засел древний и непреложный завет. Сотрудничество – вот основа наших первых успехов на охоте, сила, вызвавшая эволюцию языка, клей, соединяющий нас в общество. Наша горечь впоследствии доказывала – мы знали, что подвели самих себя. Хотя выпустить веревку нам также велела наша натура. Эгоизм также написан в наших сердцах. Дилемма всех млекопитающих: что отдать другому, а что оставить себе. Топчась на этом рубеже, мы сдерживаем остальных, они сдерживают нас, и мы называем это моралью. Повисшая в нескольких метрах над Чилтернскими холмами, наша команда иллюстрировала древний и неразрешимый моральный конфликт: «мы» или «я».

Кто-то сказал «я», и продолжать говорить «мы» не имело смысла. Обычно мы хорошие, когда в этом есть смысл. Хорошо сообщество, дающее смысл хорошим поступкам. Неожиданно мы, висящие под корзиной, стали плохим сообществом, мы были разобщены. Неожиданно благоразумным выбором стал эгоизм. Мальчик в корзине не был моим ребенком, и я не собирался умирать за него. Все было решено в тот момент, когда я заметил чье-то – чье же? – падение и почувствовал, как шар еще приподнялся; альтруизму не осталось места. В хороших поступках не было смысла. Я отпустил веревку и упал, метров, кажется, с четырех. Тяжело приземлившись на бок, ушиб бедро. Вокруг – не помню точно, до или после – падали остальные. Джед Перри не ушибся. Тоби Грин сломал лодыжку. Джозеф Лейси, самый старый, отслуживший в свое время в парашютном полку, сгруппировался перед приземлением.

Пока я поднимался на ноги, шар отнесло уже метров на пятьдесят, и лишь один человек еще висел на веревке. В Джоне Логане, муже, отце, докторе и спасателе-альпинисте, огонь альтруизма горел чуточку сильнее. А большего и не требовалось. Когда мы вчетвером отпустили веревки, шар, где было двести пятьдесят кубометров газа, взмыл вверх. Секундного промедления оказалось достаточно, чтобы лишить Логана выбора. Когда я встал и увидел его, он был на высоте сорок метров и продолжал

подниматься, а земля под ним уходила под откос. Он не боролся, не дергал ногами и не пытался подтянуться к корзине. Просто неподвижно висел, продолжая линию веревки, и старался удержать слабеющую хватку. Он уже был крошечной фигуркой, почти черной на фоне неба. Мальчика не было видно. Шар с корзиной, набирая высоту, двигался к западу, и чем меньше становился Логан, тем ужаснее это выглядело, жутко до смешного – это трюк, шутка, комикс... Испуганный смешок вырвался из моей груди. Происходящее казалось абсурдом, это могло приключиться с Багзом Банни, с Томом или Джерри, и на мгновение мне показалось, что это неправда, и только я понимаю смысл этой шутки, и что мое безоговорочное неверие исправит реальность, опустив доктора Логана на землю.

Не знаю, где стояли или лежали остальные. Тоби Грин, наверное, согнулся над сломанной лодыжкой. Помню только, в какой тишине раздался мой смех. Ни прежних криков, ни указаний. Тихая безысходность. Он уже был в восьмидесяти метрах от нас и в ста от земли. Наше молчание было признанием смертного приговора. Или позорного страха, потому что ветер стих и лишь слегка обдувал наши спины. Логан уже столько висел на веревке, что мне показалось, он сможет удержаться, пока шар не опустится, или до того, как мальчик придет в себя и найдет клапан, выпускающий воздух, либо до той поры, когда некий луч, или бог, или другая невероятная штука из мультфильмов появится и подберет его. Именно в этот миг надежды мы увидели, как он сполз к самому концу веревки. Но еще висел. Две секунды, три, четыре. А потом соскользнул. И даже тогда, в миг начала падения, я продолжал уповать на то, что некий причудливый физический закон, неистовый воздушный поток, феномен, поразительный не менее виденного нами, вмешается и поднимет его обратно. Мы смотрели, как он падает. Наблюдали за ускорением. Никакого снисхождения, никаких исключений для живого человека за его храбрость или доброту. Одна безжалостная гравитация. Слабый вскрик, может, его, а может, какой-то равнодушной вороны, прорезал застывший воздух. Он летел так же, как висел, – маленькой, застывшей черной линией. Я никогда не видел ничего ужаснее, чем этот падающий человек.

Лучше сбавить темп. Давайте внимательно посмотрим на первые тридцать секунд после падения Джона Логана. Что происходило одновременно, а что одно за другим, что говорилось, как мы двигались или замерли, что я думал – все это нужно разложить по полочкам. Так много последовало за этим происшествием, столько ответвлений и развилок появилось с того момента, такие тропы любви и ненависти протянулись от этой точки, что немного рефлексии, даже занудства только помогут мне. Лучшее описание действия не должно подражать его быстроте. Целые тома, целые исследовательские институты посвящены тридцати секундам от начала мира. Головокружительные теории хаоса и турбулентности утверждают значимость исходных условий, нуждающихся в тщательном описании.

Я уже обозначил начало, повлекшее взрыв, прикосновением к горлышку бутылки и криком. Но это мгновение относительно, как точка в евклидовой геометрии, и легко переносится в момент, когда мы с Клариссой запланировали пикник после встречи в аэропорту, или когда выбирали маршрут и место, в котором остановиться, или в миг, когда приступили к еде. Всегда остается какое-то «до». Исходная точка – лишь уловка, и какую точку считать исходной, зависит от того, насколько она определяет последствия. Прикосновение холодного стекла к коже и крик Джеймса Гэдда – эти моменты фиксируют переход, развилку с ожидаемым: от вина, которое мы не успели попробовать (мы выпили его той ночью, чтобы забыться), к судебной повестке, от восхитительной жизни, устраивающей нас, к испытаниям, которые предстояло вынести.

Когда я уронил бутылку с вином, собираясь бежать по полю навстречу воздушному шару с болтающейся корзиной, навстречу Джеду Перри и остальным, на перепутье я выбрал дорогу, лишившую нас обычной спокойной жизни. Борьба с веревками, утерянное единство и гибель Логана – явно значимые события, сформировавшие нашу историю. Но теперь в миге после падения я различаю неуловимые детали, повлиявшие на развитие событий. Момент, когда Логан ударился о землю, должен был стать концом истории, а не еще одним перепутьем. Тот полдень мог закончиться лишь этой трагедией.

В ту секунду или две, когда падал Логан, у меня возникло ощущение дежа-вю, и я тут же определил его источник. Ко мне вернулся кошмар, от

которого я иногда просыпался с криком и в двадцать, и в тридцать лет. Декорации варьировались, но суть – никогда. Я оказывался на каком-то выступе и наблюдал за происходящей вдали катастрофой – землетрясением, пожаром в небоскребе, кораблекрушением или извержением вулкана. Я видел беспомощных людей, превращенных расстоянием в однообразную массу, суесящихся в панике, обреченных на смерть. Ужас заключался в контрасте между их видимым размером и колоссальностью их страданий. Жизнь обесценивалась на глазах, тысячи вопящих людей, каждый не крупнее муравья, подлежали уничтожению, а я ничем не мог помочь. Но тогда я не столько думал об этом сне, сколько переживал наплыв чувств – ужаса, вины и беспомощности, – и к горлу подступала тошнота предчувствия.

Внизу, там, где откос кончался, была лужайка, используемая под выгон и огороженная подстриженными ивами. За ними, на лугу побольше, паслись овцы с парой ягнят. Мы прекрасно видели центр этого луга, куда приземлился Логан. Мне показалось, в момент удара тонкая фигурка разольется или растечется по земле, как капля густой жидкости. Но, стоящие, как выяснилось, в оцепенении, мы увидели компактный комочек его скрюченного тела. Ближайшая овца метрах в пяти едва взглянула на него.

Джозеф Лейси склонился над своим другом Тоби Грином, который не мог встать. Справа от меня стоял Джек Перри. Чуть позади – Джеймс Гэдд. Логан интересовал его меньше, чем нас. Гэдд что-то кричал о внуке, которого относил через Оксфордскую долину к высоковольтным проводам. Растолкав нас, он побежал вниз по холму, словно пытаясь догнать шар. «В нем говорит голос крови», – глупо подумалось мне тогда. Сзади подошла Кларисса и обняла меня за талию, уткнувшись лицом в мою спину. Меня удивило, что она уже плачет (я чувствовал ее слезы сквозь рубашку), моя печаль была еще где-то далеко.

Словно во сне, я одновременно был и участником и зрителем. Я действовал и наблюдал свои действия со стороны. У меня возникали мысли, и я смотрел, как они текут, будто за прозрачным экраном. Мои реакции, как во сне, отсутствовали либо были абсурдными. Слезы Клариссы я принял как факт, но мне нравилось, как мои широко расставленные ноги упираются в землю и как скрещены на груди мои руки. Я оглядел поля и начертил на них мысль: *этот человек мертв*. Я почувствовал, как тепло эгоизма окутывает меня, и поежился от удовольствия. Напрашивался вывод: *а я еще жив*. Кто выжил, а кто нет – каждый раз это вопрос случая. Мне повезло остаться в живых. В этот

момент я заметил, как смотрит на меня Джед Перри. Его вытянутое скуластое лицо выражало один мучительный вопрос. Он глядел затравленно, как собака перед наказанием. Через секунду после того, как взгляд ясных серо-голубых глаз незнакомца встретился с моим, я почувствовал, что могу включить его в теплое ощущение собственной удачи – остаться живым. Даже мелькнула мысль успокаивающе похлопать его по плечу. Мои мысли на экране гласили: *У парня шок. Он хочет от меня помощи.*

Знай я, что значил для него тот мимолетный взгляд, и как он истолкует его позже, и каких нагородит вокруг этого фантазий, я бы не был так добр. В его горестном, вопрошающем взгляде распускался первый цветок того, о чем я совершенно не подозревал. Мое эйфорическое спокойствие было лишь признаком шока. Я дружелюбно кивнул Перри и, не обращая внимания на Клариссу за спиной – я занят, я успокою всех по очереди, – сказал ему, как мне казалось, спокойным уверенным голосом:

– Все хорошо.

Эта вопиющая ложь так приятно отозвалась меж моих ребер, что я чуть не повторил ее снова. А может, и повторил. Я был первым, кто заговорил после удара Логана о землю. Я полез в карман брюк и выудил мобильный телефон. Округлившись глаза молодого человека я воспринял как свидетельство уважения. Именно уважение к себе я ощущал, пока держал на ладони плотный маленький брусочек и большим пальцем той же руки трижды набирал девятку. Я был экипирован, предприимчив, мобилен. Когда оператор ответил, я попросил прислать полицейских и «скорую помощь», а также выдал ясный и краткий отчет о происшедшем, мальчике, которого унесло на шаре, о нашем местонахождении и возможных путях проезда. Это все, что я мог сделать, едва удерживая возбуждение. Мне хотелось кричать – командовать, проповедовать, выкрикивать бессвязные гласные. Я был взвинчен и суетлив и, возможно, выглядел счастливым.

Когда я закончил разговор, Джозеф Лейси сказал:

– Ему «скорая помощь» не нужна.

Грин оторвал взгляд от своей лодыжки.

– Они должны его забрать.

Я вспомнил. Ну конечно. Вот что мне нужно – действовать. Я был уже невменяем, готов драться, бежать, танцевать – что угодно.

– Он, может, еще жив, – сказал я. – Всегда есть шанс. Мы сейчас спустимся и посмотрим.

Произнеся это, я обнаружил, что у меня дрожат ноги. Я хотел спуститься по склону, но боялся, что не удержу равновесия. Идти вверх

было бы проще.

Я сказал Перри:

– Пойдем со мной.

Это прозвучало не предложением, а просьбой, как будто я нуждался в нем. Он глядел на меня, не в силах вымолвить ни слова. Каждый мой жест, каждое слово – все разбиралось, складывалось и упаковывалось, чтобы стать топливом в долгую зиму его одержимости.

Освободившись из объятий Клариссы, я обернулся. Мне не пришло в голову, что она пытается удержать меня.

– Нужно спуститься, – тихо сказал я. – Может, еще можно что-то сделать.

Я отметил, как смягчился мой тон, как стал тише голос. Я был героем мыльной оперы. *Он разговаривает со своей женщиной.* Интимный разговор, двое крупным планом.

Кларисса положила руку на мое плечо. Позже она рассказала, как ей хотелось дать мне пощечину.

– Джо, – прошептала она, – успокойся.

– В чем дело? – спросил я чуть громче.

Человек умирает посреди поля, а никто и не пошевелится. Кларисса смотрела на меня, и, хотя слова были готовы сорваться с губ, она не собиралась объяснять, почему я должен успокоиться. Я отвернулся и сказал остальным, казалось, ждавшим моих указаний:

– Я спускаюсь к нему. Кто со мной?

Не дожидаясь ответа, я мелкими шажками направился вниз по склону, чувствуя водянистую слабость в коленях. Через двадцать секунд я оглянулся. Никто не сдвинулся с места.

По мере спуска мой порыв ослаб, я почувствовал себя загнанным и одиноким в своем решении. И еще возник страх – не во мне, а на поле, растекшийся, как туман, и сгущающийся в центре. Я направлялся туда, и выбора не было, потому что они смотрели на меня и вернуться означало бы еще и взбираться на холм – двойное унижение. Эйфория исчезла, страх просачивался в меня. Мертвец, встречаться с которым не хотелось, ждал меня на поле. Еще хуже было бы найти его живым и умирающим. Тогда я окажусь с ним наедине, а мои навыки оказания первой помощи годятся лишь для глупых конкурсов на вечеринках. Его этим не проймешь. Он все равно умрет у меня на руках, и его смерть останется на них. Мне захотелось обернуться и позвать Клариссу, но я знал, они смотрят на меня, и устыдился своего хвастовства наверху. Этот долгий спуск был моим наказанием.

Я добрался до линии подстриженных ив у основания холма, миновал сухую канаву и перелез через ограду из колючей проволоки. Теперь я был вне их взглядов, и меня тошнило. Вместо этого я помочился возле пня. Рука сильно тряслась. Потом стоял просто так, оттягивая момент, когда придется идти через поле. Скрывшись из виду, я испытал физическое облегчение, словно укрылся в тени от палящего солнца. Я знал, где находится Логан, но не решался взглянуть туда даже издалека.

Овцы, едва заметившие падение, разглядывали меня и отступали короткими перебежками, когда я проходил мимо. Мне стало немного лучше. Я поглядывал на Логана лишь краем глаза, но заметил, что он не лежит на земле. В центре поля что-то торчало, некая приземистая антенна, которой он стал, лишь когда до него оставалось не больше двадцати метров, я позволил себе взглянуть.

Он сидел прямо, спиной ко мне, будто медитировал или смотрел вслед шару, унесенному Гарри. Его поза была полна спокойствия. Я подошел ближе, испытывая смутную неловкость, как будто подкрадываюсь к нему сзади, и радовался, что не вижу его лица. Я еще цеплялся за вероятность существования какого-то неизвестного мне способа, физического закона или процесса, позволившего ему выжить. Казалось, он сидит тихонько посреди поля и приходит в себя после пережитого ужаса. Это вновь дало мне надежду, заставило глупо откашляться и, зная, что никто больше не услышит этого, произнести:

– Вам помочь?

Тогда это не звучало так нелепо. Я видел его кудрявые волосы и обгоревшие на солнце кончики ушей. Твидовый пиджак на нем не испачкался, хотя странно обвис, плечи явно стали уже, чем должны были быть. Уже, чем у любого взрослого человека. Они не расходились в стороны от основания шеи. Кости скелета сложились внутри, оставив голову на тонкой палочке. Разглядев это, я догадался: то, что я принял за спокойствие, было *отсутствием*. Здесь никого нет. Это тишина безжизненности, и я почувствовал вновь, так как видел мертвое тело не впервые, – вот зачем в донаучную эпоху понадобилось изобрести душу. Это выглядело не менее убедительно, чем иллюзия погружающегося за горизонт вечернего солнца. Мгновенная остановка бесчисленных взаимосвязанных нейронных и биохимических процессов, увиденная невооруженным глазом, кажется вылетевшей искрой, простым исчезновением одной необходимой составляющей. И какими бы просвещенными мы себя ни считали, в присутствии мертвых нас все равно охватывает страх и благоговение. Вероятно, сама жизнь действительно

поражает нас в тот момент.

Пытаясь защититься этими мыслями, я обходил труп. Он сидел в небольшой ямке. Я не осознавал, что Логан мертв, но как только посмотрел в его лицо, понял это мгновенно.

Хотя кожа уцелела, это трудно было назвать лицом. Вся костная структура разрушилась; прежде чем отвести взгляд, я осознал радикальное, в духе Пикассо нарушение законов перспективы. Может быть, я лишь выдумал вертикально расположенные глаза. Отвернувшись, я увидел Перри, направлявшегося ко мне через поле. Очевидно, он давно следовал за мной по пятам, ибо был уже в пределах слышимости. И он, должно быть, видел, как я задержался в тени деревьев.

Я наблюдал за ним через голову Логана, когда он замедлил шаг и крикнул мне:

– Не трогай его, пожалуйста, не трогай.

Я и не собирался, но промолчал, рассматривая Перри словно впервые. Упершись руками в бока, он стоял и глядел не на Логана, а на меня. Даже тогда я интересовал его сильнее. Он пришел что-то сказать мне. Высокий и худой, одни кости и мускулы, он неплохо смотрелся. На нем были джинсы и новенькие кроссовки с красными шнурками. Кости просто выпирали из него, но не так, как у Логана. Большие и узловатые костяшки пальцев, касающиеся кожаного ремня, туго натягивали белую кожу. Острые, четкие скулы и собранные в хвост волосы делали его похожим на бледнолицего индейского воина. Его внешность впечатляла, даже казалась слегка угрожающей, но голос опровергал это. Слабый, неуверенный, без провинциального выговора, но со следами интонаций, характерных для кокни^[5], – отвергнутое прошлое или бравада. У Перри была привычка, характерная для его поколения, вопросительно повышать интонацию в конце предложения – жалкое подражание американцам или австралийцам, или, как я слышал от одного лингвиста, молодежь, мол, слишком завязла в относительных суждениях и им не хватает духа называть вещи своими именами.

Конечно, тогда я не думал об этом. Лишь уловил жалобное бессилие и расслабился. Вот что он сказал:

– Кларисса там беспокоится за тебя! Я сказал ей, пойду посмотрю, как ты там.

Я мрачно промолчал. Я уже достиг того возраста, когда раздражает панибратское обращение по имени, еще меньше мне понравилось утверждение, что он разбирается в душевных порывах Клариссы. В тот момент я даже не знал его имени. Даже сидящий между нами мертвец не

отменял существующих норм поведения. Позже я узнал от Клариссы, что Перри подошел к ней познакомиться, а потом развернулся и пошел за мной. Она ничего ему про меня не говорила.

– Тебе нехорошо?

Я сказал:

– Теперь уж ничего не поделаешь, мы можем только ждать, – и показал на дорогу за полем.

Перри подошел на пару шагов и поглядел на Логана, а потом опять на меня. Его серо-голубые глаза блестели. Он был возбужден, но никто не догадывался, как сильно.

– Вообще-то, кое-что, я думаю, мы можем сделать.

Я взглянул на часы. Прошло пятнадцать минут с момента моего звонка в службу спасения.

– Давай, – сказал я, – делай.

– Мы могли бы сделать это вместе, – произнес он и огляделся в поисках подходящего места.

У меня промелькнула дикая мысль, что он собирается провести над трупом некий возмутительный ритуал. Он стал опускаться на землю и взглядом предложил последовать его примеру. И тут я понял. Он стоял на коленях.

– Вот что мы можем, – сказал он с серьезностью, исключаящей розыгрыш, – помолиться вместе. – И прежде чем я успел возразить – а я аж потерял дар речи, – Перри добавил: – Я знаю, это непросто. Но это помогает, вот увидишь. Поверь, в такие минуты это очень помогает.

Я чуть-чуть отошел от Логана и Перри. Первым, немного смущенным порывом было не обидеть чувства верующего. Но я взял себя в руки. Ведь он не боялся, что обидит меня.

– Извини, – вежливо сказал я, – это не в моих привычках.

Стоя на коленях, Перри пытался высказываться убедительно и разумно:

– Послушай, мы с тобой не знакомы, и у тебя нет особых причин доверять мне. Лишь одна – Господь свел нас в этом несчастье, и мы должны как следует осмыслить случившееся. – Видя, что я не двигаюсь, он добавил: – Мне кажется, ты сейчас особенно нуждаешься в молитве.

Я пожал плечами и ответил:

– Извини. Но ты давай молись.

Я произнес это как какой-нибудь американец, изображая дружелюбие, которого и в помине не было.

Перри не сдавался. Он так и стоял на коленях.

– Похоже, ты не понимаешь. Не воспринимай это как обязанность. Ты просто выразишь свои потребности. Поверь, со мной это никак не связано. Я только посланник. Дар свыше.

Он давил все сильнее, и остатки моего смущения испарились.

– Спасибо, нет.

Перри закрыл глаза и глубоко вздохнул, но не в молитве, а собираясь с силами. Я решил вернуться на холм. Услышав, что я ухожу, он поднялся и направился за мной. Он явно не хотел меня отпускать. В отчаянии он шел за мной, не меняя, однако, терпеливого, всепонимающего тона. С какой-то вымученной улыбкой он произнес:

– Пожалуйста, не отмахивайся от этого. Понимаю, в обычном состоянии ты не молишься. Но ведь знаешь, тебе даже не нужно ни во что верить, просто позволь себе это сделать, и я обещаю, я обещаю...

Пока он путался в условиях своего обещания, я отступил назад и перебил его, испугавшись, что еще немного, и он попытается дотронуться до меня.

– Слушай, мне очень жаль. Я возвращаюсь, хочу посмотреть, как там моя подруга. – Я не мог заставить себя произнести при нем имя Клариссы.

Он все же понял, что единственный шанс удержать меня – радикально сменить тон. Я прошел уже несколько шагов, когда он резко воскликнул:

– Хорошо, хорошо! Только не откажи в любезности, объясни мне одну вещь.

Против этого я не устоял. Я остановился и повернулся.

– Что именно тебе мешает? Можешь ты объяснить мне, знаешь ли ты сам, что это?

Сначала я решил не отвечать, показывая ему, что его вера на меня лично не накладывает никаких обязательств. Но потом передумал и сказал:

– Ничего. Мне ничего не мешает.

Он пошел ко мне, руки бессильно свисали вдоль тела, ладони открыты, олицетворяя маленькую мелодраму разумного человека, попавшего в затруднительное положение.

– Тогда почему бы тебе не использовать такую возможность, – сказал он с улыбкой, полной житейской мудрости. – Может, ты уловишь суть, почувствуешь силу, которую это дает. Скажи, почему ты не хочешь?

Поколебавшись, я собрался промолчать. Но потом решил, что ему все же следует знать правду.

– Потому что, друг мой, никто не услышит. Там, наверху, никого нет.

Перри гордо поднял голову, счастливейшая улыбка засияла на его лице. Я засомневался, правильно ли он меня понял: он выглядел так, будто

я признался, что я – Иоанн Креститель. И тут за его плечом я заметил двух полицейских, перебирающихся через штакетник. Когда они бежали к нам по полю, один в стиле «кистоунских копов»^[6] придерживал шляпу рукой. Они приближались, чтобы начать официальное расследование судьбы Джона Логана и заодно избавить меня от сияющей любви и заботы Джеда Перри.

К шести вечера мы уже вернулись домой, на нашу кухню, где все выглядело прежним – вокзальные часы над дверью; библиотека книг Клариссы, посвященных кулинарии; позавчерашняя записка каллиграфическими буквами от приходящей уборщицы. Оставшиеся после моего завтрака кофейная чашка и газета ничуть не изменились, что казалось богохульством. Пока Кларисса относила свой багаж в спальню, я убрал со стола, открыл предназначавшееся для пикника вино и достал два бокала. Мы сели друг напротив друга, и тут нас прорвало.

В машине мы почти не говорили. Радовало уже то, что поток машин не причиняет нам вреда. А дома хлынула лавина: вскрытие, переживание, разбор полета, приступы тоски и выплески ужаса. События и ощущения, каждая наша фраза и слово, отточенные и осмысленные, столько раз повторялись в тот вечер, что наш разговор мог показаться неким ритуалом, где используются не описания, а заклинания. Повторы успокаивали, как и знакомая тяжесть бокала с вином, сосновый стол, принадлежавший еще прабабке Клариссы. По краям столешницы, вытертой – как я часто представлял – локтями, так похожими на наши, царапины от ножей соседствовали с маленькими гладкими вмятинами; за этим столом обсуждалось немало проблем и смертей.

Кларисса торопливо рассказала начало своей истории, как качался запутанный клубок из веревок и мужчин, которые кричали и ругались, как она подошла помочь, но не нашла свободного конца веревки. Вдвоем мы покрыли проклятиями пилота, Джеймса Гэдда, и его безответственность, но это лишь ненадолго защитило от мыслей, чего не сделали мы, чтобы предотвратить смерть Логана. Мы перескочили на момент, когда он соскользнул с веревки, и еще не раз возвращались к нему тем вечером. Я вспомнил, как он словно завис в воздухе перед тем, как упасть, а она рассказала, что перед ней промелькнула строка из Мильтона: «... низверг строптивцев, объятых пламенем...»^[7]. И мы отступали от этого мгновения снова и снова, окружали его, подкрадывались, пока не загнали в угол, где принялись умирять его словами. Мы вернулись к борьбе с шаром и веревками. Я чувствовал, что меня начинает мутить от чувства вины, но еще не мог говорить об этом. Показал Клариссе содранную веревкой кожу на ладонях. Мы справились с бутылкой меньше чем за полчаса. Кларисса поднесла мои ладони к губам и поцеловала их. Я смотрел в ее глаза, такие

прекрасные, любящие и зеленые, но не смог удержать этот миг, спокойствие было нам еще недоступно. Она содрогнулась и вскрикнула:

– Боже мой, как он падал!

И я торопливо поднялся за бутылкой божоле, стоявшей на полке.

Мы снова обсуждали падение, сколько времени оно длилось: две секунды или три. И тут же перешли к второстепенным деталям: полиция; врачи «скорой помощи», один из которых оказался недостаточно силен, чтобы нести на носилках Грина, и ему помог Лейси; эвакуатор, отбуксировавший машину Логана. Попытались представить, как пустую машину доставят к его дому в Оксфорде, где ждет его жена и двое детей. Но это было уже невыносимо, и мы вернулись к своим собственным историям. Нити повествования были усеяны узлами, клубками ужаса, на которые мы с первого раза не решались взглянуть, а лишь касались их и спешили дальше, а потом возвращались. Мы были узниками в камере, мы бились с разбегу о стены и раздвигали их лбами. Постепенно тюрьма стала шире.

Странно вспомнить, но с Джедом Перри мы чувствовали себя спокойней. Кларисса рассказала, как он подошел к ней, назвал свое имя, а она назвала свое. Рук они не пожали. Потом он развернулся и пошел за мной по склону. Я обратил историю с молитвой в анекдот, Кларисса рассмеялась. Она переплела свои пальцы с моими и сжала их. Я хотел сказать, что люблю ее, но неожиданно между нами возникла фигура Логана, сидящего прямо и неподвижно. Мне пришлось описать его. Воспоминание было гораздо ужаснее, чем первое впечатление. Испытанный тогда шок, вероятно, приглушил эмоции. Описывая, как все части его лица и тела оказались не на своих местах, я прервался, чтобы объяснить разницу между «теперь» и «тогда», и как во сне иногда некая логика превращает невыносимое в обыденное, и как мне не хотелось говорить с Перри над останками сидящего на земле Логана. Даже во время этого разговора я чувствовал, что по-прежнему избегаю упоминать Логана и медлю с описанием, еще не в силах пропустить случившееся через себя... Мне захотелось рассказать Клариссе и об этом факте. Она терпеливо смотрела, как я раскручивал по спирали свои воспоминания, эмоции и ощущения. Не то чтобы я скверно формулировал – просто не успевал за собственными мыслями. Кларисса отодвинула стул, подошла и прижала мою голову к своей груди. Я умолк и закрыл глаза. Почуввав резкий запах ветра от ее свитера, я представил бескрайнее небо.

Потом мы снова сидели порознь, склонившись над столом, как увлеченные работой ремесленники – шлифуя зазубренные края

воспоминаний, выковыывая слова из непроизносимого, связывая разрозненные впечатления в предложения, пока Кларисса не вернулась к самому падению, к моменту, когда Логан заскользил по веревке, замер на последний, драгоценный миг и оторвался. Она должна была к этому вернуться, именно этот образ выражал весь ее шок. Она повторила все сначала и еще раз процитировала строчку из «Потерянного рая». Призналась, что так же надеялась на спасение, даже когда он пролетел уже половину пути. Ей пришли на ум ангелы – не мильтоновские строптивцы, низвергнутые с небес, а некие золотые фигуры, воплощения добра и справедливости, которые спустятся с облаков и подхватят падающего человека. В ту бредовую секунду ей казалось, что пред таким искушением, как падающий Логан, не устоит ни один ангел, но его смерть опровергла их существование. Я хотел спросить, так ли уж нужно это опровергать, но она сжала мне руку и с неожиданной мольбой, словно я собирался осуждать его, произнесла:

– Он был хорошим человеком. Мальчик остался в корзине, и Логан не выпустил веревку. У него тоже есть дети. Он был хорошим человеком.

В двадцать с небольшим, после заурядной операции, Кларисса не могла иметь детей. Она считала, что ее медицинскую карту перепутали с чужой, но доказать это было невозможно, длинное судебное разбирательство увязло в переносах и проволочках. Потихоньку Кларисса похоронила свое горе и построила жизнь так, чтобы дети всегда присутствовали в ней. Племянники, племянницы, крестники, дети соседей и старых друзей – все обожали ее. В нашем доме была отдельная комната, наполовину детская, наполовину подростковая берлога, где иногда жили дети знакомых. Друзья считали, что Кларисса добилась успеха и вполне счастлива, и большую часть времени это было правдой. Но иногда что-нибудь бредило старую рану. За пять лет до происшествия с шаром, на второй год нашего знакомства, ее близкая университетская подруга Марджори из-за редкой инфекции потеряла месячного младенца. Когда малютке было пять дней, Кларисса приезжала к ним в Манчестер и провела там неделю, помогая ухаживать. Весть о смерти ребенка подкосила ее. Я никогда не видел, чтобы горе так выбивало из колеи. Страшнее оказались даже не смерть ребенка и утрата Марджори, которую она переживала как свою. Наружу вырвалась собственная скорбь по призрачному ребенку, которого несостоявшаяся любовь превратила в наполовину реального. Боль Марджори стала ее болью. Лишь через несколько дней защитная оболочка вернулась на место, и Кларисса сделала все, чтобы помочь подруге.

Та ситуация была экстремальной. А иной раз это незначатое дитя

просто шевелилось какое-то время. В Джоне Логане она увидела человека, готового отдать жизнь, лишь бы не допустить страданий, подобных тем, какие испытала она. Тот мальчик не был его сыном, но у него тоже были дети, и он все понимал. Явленная Логаном любовь проткнула ее защитную оболочку. Эта мольба в голосе: «Он был хорошим человеком...» – была обращена к ее прошлому, к ее призрачному ребенку, у которого она просила прощения.

Мысль о том, что Логан умер ни за что, была невыносима. Мальчик Гарри Гэдд, как выяснилось, не пострадал. Я выпустил веревку. Я способствовал гибели Джона Логана. Но даже испытывая тошноту от вернувшегося чувства вины, я уговаривал себя, что поступил правильно. В противном случае мы с Логаном разбились бы вместе, и сегодня ночью Кларисса сидела бы одна. Позже мы узнали от полиции, что, пролетев тридцать километров к западу, мальчик благополучно приземлился. Осознав, что помощи ждать неоткуда, он позаботился о своем спасении. Страх, вызванный паникой деда, прошел, он взял себя в руки и сделал все, что надо. Дождавшись, когда шар пролетит над высоковольтными проводами, мальчик открыл клапан и плавно опустился на поле за деревней.

Кларисса притихла. Она сидела, вдавив подбородок в кулаки и уставившись в столешницу.

– Да, – произнес я наконец, – он хотел спасти этого ребенка.

Она задумчиво кивнула, в подтверждение какой-то невысказанной мысли. Я выжидал, готовый отделаться от собственных чувств, чтобы только помочь ей разобраться со своими. Она почувствовала мой взгляд и подняла глаза.

– Это кое-что да значит, – печально выговорила она.

Я задумался. Мне никогда не нравился такой способ мышления. Логан умер бессмысленной смертью, и именно в этом была основная причина нашего шока. Зачастую хорошие люди принимают страдания и смерть не потому, что кто-то испытывает их хорошие качества, а именно потому, что не оказывается никого и ничего, чтобы испытать их. Никого, кроме нас. Я молчал слишком долго, и Кларисса неожиданно произнесла:

– Не беспокойся, Джо. Я не виню тебя. Я просто не знаю, какие мы должны сделать выводы.

– Мы же пытались помочь, но ничего не получилось.

Она улыбнулась и замотала головой. Я встал и, подойдя к ее стулу, обнял ее, по-отечески поцеловав макушку. Она, вздохнув, обхватила меня за талию и уткнулась лицом в рубашку.

– Какой же ты дурачок. Ты так рассудителен, что иногда совсем как ребенок...

Имела ли она в виду, что рассудительность означает невинность? Этого я так и не узнал, потому что ее пальцы заскользили по моим ягодицам к промежности. Одной рукой поглаживая мою мошонку, другой она расстегнула на мне ремень и задрала рубашку. Поцеловав в живот, она сказала:

– Я скажу тебе, чучело, какой мы должны сделать вывод. Мы вместе пережили нечто ужасное. С этим нужно смириться, и мы должны помочь друг другу. Значит, должны любить друг друга еще сильнее.

Действительно. Как я об этом не подумал? Почему сам не догадался? Нам нужна любовь. Я пытался сделать вид, что не замечаю ее руки, считая сексуальное влечение перед лицом смерти оскорбительным и богопротивным. К этому мы могли бы вернуться позже, когда все обсудим и проанализируем. Но Кларисса совершила переход к самой сути. Держась за руки, мы отправились в спальню. Она присела на край кровати, и я раздел ее. Пока я целовал ее шею, она притянула меня к себе.

– Мне все равно, что мы будем делать, – прошептала она. – Можем не делать ничего. Я просто хочу крепко тебя обнять.

Она забралась под одеяло и лежала, поджав ноги, пока я раздевался. Когда я нырнул к ней, она обвила мою шею руками и подставила лицо. Кларисса знала, что от таких приемов я таю. Ощущая наше единство, я чувствую, что обрел дом и благословение. И я знал, что она любит закрыть глаза, чтобы я целовал их, а потом – нос и щеки, будто она ребенок, которому желают спокойной ночи, и лишь потом я отыскивал ее губы.

Мы часто ругали себя за то, что просто теряем время на разговоры, сидя полностью одетыми, вместо того чтобы делать то же самое, лежа в постели обнаженными, лицом к лицу. Этим минутам, перед тем как заняться любовью, не подходит псевдоклинический термин «предварительные ласки». Мир вокруг нас становится уже и глубже, наши голоса тонут в тепле тел, диалог продолжают непредсказуемые ассоциации. Все превратилось в дыхание и прикосновение. В голове рождались какие-то простые фразы которые я не произносил вслух, потому что, озвученные, они становятся банальностью – «Ну наконец-то», или «Еще раз», или «Да, вот оно». Как эпизод повторяющегося сна, эти выпавшие из времени бессознательные минуты стирались из памяти, пока не повторялись вновь. И каждый раз в эти моменты наши жизни возвращались к истокам и начинались заново. Мы безмолвно падали куда-то, мы лежали так близко, что соприкасались губами, оттягивали слияние и благодаря этой прелюдии

оно захватывало нас целиком.

И вот наконец-то еще раз – в этом спасение. Тьма, продолжавшая полумрак спальни, была беспредельна и холодна, как сама смерть. Мы были точкой тепла в бесконечности. События дня переполняли нас, но мы избегали говорить о них. Я спросил:

- Как ты себя чувствуешь?
- Мне страшно, – ответила она. – Очень страшно.
- Глядя на тебя, не скажешь.
- Я чувствую, как внутри вся дрожу.

И вместо того чтобы двинуться по дорожке, которая снова приведет нас к Логану, мы стали перебирать вызывающие дрожь и озноб истории, и, как обычно в подобных разговорах, в основном это оказались детские воспоминания. Когда Клариссе было семь, она ездила в Уэльс на какое-то семейное торжество. Одна из ее кузин, пятилетняя девочка, исчезла дождливым утром и отсутствовала часов шесть. Приехали полицейские с двумя собаками-ищейками. Сельские жители прочесывали высокий папоротник, какое-то время над холмами парил вертолет. Уже в сумерках девочку нашли в каком-то сарае, где она спала, укрывшись мешковиной. Кларисса помнила торжество, устроенное тем вечером в арендованном фермерском доме. Ее дядя, отец той девочки, только проводил до двери последнего из полицейских. Он вернулся в комнату, спотыкаясь, и тяжело упал в кресло. Его ноги сильно тряслись, и дети с изумлением наблюдали, как тетя Клариссы опустилась перед ним на пол и начала успокаивающе массировать его бедра.

– Тогда я не связала этого с пропажей сестры. Это была просто еще одна странность, которые в детстве воспринимаешь абсолютно спокойно. Я думала, может, эти колени, пляшущие в брюках, и означают «пьянство».

Я вспомнил свое первое выступление: мне было одиннадцать лет и я должен был играть на трубе. Я так нервничал, что у меня тряслись руки, поэтому я никак не мог удержать мундштук у губ, да и правильно сложить губы, чтобы выдать хоть звук, тоже не мог. Потому я засунул весь мундштук в рот, изо всех сил стиснул его зубами, а свою партию наполовину пропел, наполовину протрубил. В общей какофонии рождественского детского оркестра никто этого не заметил. Кларисса сказала:

- Ты до сих пор здорово изображаешь трубу в ванной.

От потрясений мы перешли к танцам (я их ненавижу, она любит), а от танцев к любви. Мы говорили друг другу слова, которые влюбленные никогда не устают говорить и слушать.

– Теперь, когда я вижу, что ты совсем свихнулся – я люблю тебя еще больше, – сказала она. – Рационалист неожиданно сходит с ума.

– И это только начало, – пообещал я. – Оставайтесь с нами.

Кларисса напомнила, как я повел себя после падения Логана, и это разрушило чары, но лишь на полминуты, не больше. Мы подвинулись ближе друг к другу и начали целоваться. То, что произошло сразу за этими поцелуями, усилилось всеми эмоциональными ссадинами, полученными во время примирения, будто тягостная, затянувшаяся на неделю ссора с угрозами и оскорблениями счастливо завершилась взаимным прощением. Нам было нечего прощать, кроме смерти, которую мы отпускали друг другу как грех, но это ощущение таяло с каждой новой волной чувств. Однако мы дорого заплатили за этот экстаз – мне приходилось отгонять от себя образ темного дома в Оксфорде, одинокого, будто стоящего в пустыне, где из окна на втором этаже двое детей смотрят на хмурых визитеров матери.

Потом мы заснули и, проснувшись через час, поняли, что проголодались. Придя в халатах на кухню и обшаривая холодильник, мы поняли, что нам нужна компания. Кларисса отправилась звонить. Эмоциональный комфорт, секс, родные стены, еда, вино и общество – мы хотели заново убедиться в целостности нашего мира. Через полчаса мы уже сидели в обществе наших друзей Тони и Анны Брюс и, пересказывая произошедшее, поглощали тайские кушанья, которые я заказал по телефону. Мы рассказывали, как это делает обычно семейная пара, – один нагнетает напряжение, второй пытается перебить, и первый то перекрикивает, то дает ему вставить слово. Случалось, мы начинали говорить одновременно, но, несмотря на все это, история выходила довольно складной: она обрела форму, и, кроме того, сейчас она рассказывалась в безопасном месте. Я видел, как постепенно на умных, сосредоточенных лицах наших друзей проступало уныние. Их шок был только тенью нашего, он больше походил на добровольную имитацию наших эмоций, и потому возникало искушение сгустить краски, перебросить веревку преувеличений через бездну, отделяющую реальность от ее анекдотического переложения. В последующие дни и недели мы с Клариссой неоднократно пересказывали нашу историю друзьям, коллегам и родственникам. Я поймал себя на том, что каждый раз использую одни и те же фразы, определения и в том же порядке. У меня получалось подробно излагать события, ничуть не переживая, даже не вспоминая их. Тони и Анна ушли в час ночи. Проводив их, я вернулся и увидел, что Кларисса просматривает свои конспекты лекций. Действительно, ее отпуск закончился. Завтра понедельник, она начнет преподавать. Я прошел в

кабинет и сверился с ежедневником – две встречи и статья, которую необходимо закончить к пяти. До какой-то степени мы были надежно защищены от этой катастрофы. Мы были вместе, у нас было много старых друзей да еще обязательства и увлеченность интересной работой. Стоя в свете настольной лампы, я смотрел на небрежно сложенные в стопку шесть писем, ожидающих ответа, и их вид внушал мне спокойствие.

Мы проговорили еще полчаса, но только потому, то идти до кровати уже не было сил. В два часа нам это удалось. Свет был погашен уже пять минут, когда телефонный звонок вырвал меня из дремоты.

Я уверен, что верно запомнил произнесенные им слова. Он сказал:

– Это Джо?

Я не ответил. К тому моменту я уже узнал этот голос. Он сказал:

– Я только хочу, чтобы ты знал: я понимаю, что ты чувствуешь. Я тоже это чувствую. Я люблю тебя.

Я повесил трубку.

– Кто это был? – пробормотала в подушку Кларисса.

Может быть, я слишком устал или я умышленно скрыл это, желая защитить ее, не знаю, но я совершил первую серьезную ошибку, когда повернулся на другой бок и сказал:

– Никто. Ошиблись номером. Спи.

Когда мы проснулись утром, события предыдущего дня еще звенели в воздухе над нашей кроватью и масса наших обязательств стала чем-то вроде бальзама на раны. Кларисса ушла в полдевятого на семинар пятикурсников по романтической поэзии. Она сходила на административное собрание факультета, пообедала с коллегой, проверила семестровые работы и еще час занималась со своей аспиранткой, которая писала работу о Ли Ханте^[8]. Она вернулась домой в шесть, когда меня еще не было. Сделала несколько звонков, приняла душ и отправилась ужинать со своим братом Люком, пятнадцатилетний брак которого разваливался.

Я с утра принял душ. С термосом кофе прошел в свой кабинет и четверть часа раздумывал, не предаться ли мне искушениям, подстерегающим внештатнику – газетам, телефону и мечтам. У меня было полно поводов поразмыслить, глядя в потолок. Но я взял себя в руки и заставил дописать статью для американского журнала о телескопе «Хаббл».

Этот проект интересовал меня уже несколько лет. Он воплощал в себе старомодный героизм и величие, не служил военным целям, не приносил быстрой прибыли, им двигала простая и благородная потребность – больше знать и понимать. Когда выяснилось, что главное трехметровое зеркало на тысячные доли миллиметра тоньше, чем нужно, общество не разочаровалось. Кто-то ликовал, кто-то злорадствовал, восторги и хохот до колик сотрясали планету. Еще со времен гибели «Титаника» мы беспощадны к технарям, с цинизмом воспринимая их экстравагантные амбиции. И вот теперь в космосе красовалась наша самая большая игрушка – говорят, высотой с четырехэтажный дом, – которая должна была донести до сетчатки наших глаз чудо из чудес, образы рождения Вселенной, начало всех начал. А она не сработала, и не из-за алгоритмических загадок программного обеспечения, а из-за понятной всем ошибки – недосмотра за старой доброй шлифовкой-полировкой. «Хаббл» был краеугольным камнем всех телевизионных ток-шоу, он рифмовался с «trouble» и «rubble»^[9] и подтверждал, что Америка вошла в фазу промышленного упадка.

Проект «Хаббл» сам по себе был грандиозным, но спасательная операция стала вершиной технологической мысли. Работы в открытом космосе велись сотни часов; с нечеловеческой точностью по кромке негодной линзы были установлены десять корректирующих зеркал, и за всем этим снизу, из Центра, наблюдал прямо-таки вагнеровский оркестр

ученых и компьютерщиков. Технически это было сложнее, чем высадить человека на Луну. Итак, ошибка была исправлена, изображение стало четким и ярким, мир позабыл свои насмешки и поражался – целый день, – а потом отправился по делам.

Я работал без перерыва два с половиной часа. Но какое-то беспокойство, некий физический дискомфорт, которого я не мог сформулировать, мешал мне в то утро сосредоточиться на статье. Ведь существуют ошибки, которые не исправить и тысяче космонавтов. Моя вчерашняя, например. Но что именно я сделал или чего не сделал? Если и была вина, то где она начиналась? С момента, когда я схватился за веревку, или когда выпустил ее, или со сцены возле тела, или с ночного телефонного звонка? Тревога стягивала мою кожу и просачивалась сквозь нее. Ощущение такое, будто давно не мылся. Но, оторвавшись от статьи и заново обдумав происшедшее, я не нашел в нем своей вины. Тряхнув головой, я принялся печатать быстрее. Не знаю, как мне удалось отогнать от себя мысли о вчерашнем ночном звонке. Я ухитрился причислить его к остальным переживаниям предыдущего дня. Наверное, я все еще был в шоке и пытался отвлечься разнообразными делами. Я закончил статью, исправил ошибки, распечатал и отправил по факсу в Нью-Йорк, за пять часов до окончательного срока. Позвонил в оксфордский полицейский участок и после того, как меня поочередно соединяли с тремя отделами, узнал, что по факту смерти Джона Логана начато расследование, что судебное заседание, скорее всего, состоится в течение шести недель и что все мы должны будем на нем присутствовать.

Я отправился на такси в Сохо, где у меня была назначена встреча с радиопродюсером. Он провел меня в свой кабинет и предложил вести программу об овощах из супермаркета. Я ответил, что это не мой профиль. И тут этот продюсер, его звали Эрик, порядком удивил меня: он вскочил и разразился пламенной речью. Он вещал, что круглогодичный спрос на разрекламированную экзотику, клубнику и прочее разрушает окружающую среду и подрывает экономику африканских стран. Заметив, что это не моя область, я назвал нескольких людей, к которым он может обратиться. А потом, несмотря на то что мы едва знакомы, а может, именно поэтому, я с не меньшей страстью рассказал ему свою историю. Я ничего не мог с собой поделать. Я должен был кому-то все рассказать. Эрик терпеливо слушал меня, в нужные моменты ахал и качал головой, но глядел при этом как на заразного больного, на разносчика нового вируса неудачи, проникшего к нему в офис. И я мог бы перевести разговор на другую тему или превратить историю в анекдот, но упорно продолжал, не в силах

остановиться. Я рассказывал ее самому себе, и аквариумная рыбка сгодились бы мне в собеседники, не то что продюсер. Когда я закончил, Эрик поспешно попрощался: у него еще одна встреча, он позвонит мне, когда появятся другие идеи, – и, выйдя на грязную Мирд-стрит, я почувствовал себя прокаженным. Безымянное ощущение вернулось, на этот раз в форме покалывания в затылке и посасывания под ложечкой, и превратилось в третий за день ложный позыв кишечника.

После полудня я сидел в читальном зале Лондонской библиотеки, выискивая не столь известных современников Дарвина. Я собирался писать о смерти анекдота и сюжетного повествования в науке и предполагал, что дарвиновское поколение было последним, позволявшим себе роскошь рассказывать занимательные истории в научных статьях. Я обнаружил письмо в «Нейчур», датированное 1904 годом, одно из длительной переписки о самосознании у животных, в частности о том, почему у высших млекопитающих – таких, как собаки, – можно выявить случаи осознанного поведения. У автора письма был близкий друг, чья собака имела обыкновение лежать в определенном, весьма удобном кресле рядом с камином. И однажды, когда этот господин вместе с другом вернулся после обеда в библиотеку, чтобы выпить по стаканчику портвейна, он стал свидетелем интересного случая. Хозяин согнал собаку с кресла и сам сел на ее место. После пары минут тихих размышлений у камина она подошла к двери и заскулила, чтобы ее выпустили. Когда хозяин нехотя поднялся и направился к двери, собака стрелой метнулась через комнату и заняла излюбленное место. Следующие несколько секунд на ее морде было выражение искреннего торжества.

Автор утверждал, что, вероятно, у собаки был план, некое представление о будущем, на которое она рассчитывала повлиять путем осознанного обмана. Удовольствие, полученное собакой, когда трюк удался, якобы доказывает наличие памяти. Больше всего мне понравилось, как автору удалось использовать обаяние истории, чтобы завуалировать основной вывод. По любым стандартам научного исследования эта очаровательная история является чепухой, она не доказывает ни одной теории, не определяет терминов, разве что один, бессмысленный и смехотворный, – антропоморфизм. Не представляло труда представить события таким образом, что собака казалась бы подобием автомата – существом, обреченным жить в вечном настоящем: согнанная с любимого кресла, она заняла следующее наиболее удобное место – возле огня, где и наслаждалась теплом (а не строила планы) до тех пор, пока не почувствовала необходимости помочиться. Тогда она подошла к двери, как

и была приучена, но, заметив, что любимое место опять свободно, вернулась, позабыв на минуту призывы мочевого пузыря, а выражение триумфа – лишь проявление мгновенного удовлетворения, а быть может, лишь воображение наблюдателя. Лично я удобно расположился в широком кожаном кресле с мягкими подлокотниками. Со своего места я видел еще троих читателей, у всех на коленях лежали книги или журналы, и все трое спали. Пронзительный шум транспорта – даже мотоциклов – за окном, на Сент-Джеймс-сквер, действовал усыпляюще, вызывал нечто вроде дремоты, нагоняемой беспорядочным передвижением других людей. Здесь, внутри, слышалось бормотание воды в потайных древних трубах, и чуть ближе, за стеллажом с журналами, скрипели половицы, словно кто-то делает пару шагов, затем остановится на минутку-другую и снова шагает. Позже я осознал, что этот звук незаметно беспокоил меня уже полчаса. Я задумался, как вежливо попросить этого человека не скрипеть или, может, предложить ему взять стопку журналов и тихо присесть с ними. Мой мучитель зашевелился, четыре ленивых скрипучих шажка – и тишина. Я попытался снова сосредоточиться на авторе письма и умственных способностях собак, но уже потерял нить размышлений. Когда кто-то двинулся через комнату, я постарался не взглянуть на него поверх страницы, хотя уже не понимал, что читаю. Наконец я сдался, но все, что увидел, – задник белого ботинка и что-то красное, потом повернулись и со вздохом замерли вращающиеся двери, ведущие из читального зала на лестницу.

Теперь, когда неугомонный похититель времени исчез, мое раздражение вылилось на местное руководство. Здание библиотеки пользовалось дурной славой из-за вечного шума и жужжащих флуоресцентных ламп на стеллажах, которые так и не удалось починить. Возможно, я чувствовал бы себя лучше в библиотеке Уэлкам. Собрание научных трудов здесь просто смехотворно. Руководство делает вид, что для постижения мира вполне достаточно художественной и исторической литературы, а также биографий. Неужели невежды от науки, заправляющие этим миром и беззастенчиво называющие себя образованными людьми, действительно считают, что беллетристика является важнейшим интеллектуальным достижением нашей цивилизации?

Этого пафосного монолога хватило, должно быть, минуты на две. Я так заполнил им все вокруг, что потерял себя из виду. Меня посетили такая уверенность в себе и такое самосознание, какие и не снились собаке, описанной в том письме. Меня, конечно же, Раздражали не скрипучие половицы и не библиотечное руководство, а собственное эмоциональное

состояние, с которым мне еще предстояло разбираться. Откинувшись на спинку кресла, я принялся собирать свои заметки. В тот момент я еще не осознал подсказки белого ботинка и красного цвета. Я взглянул на страницу, лежавшую на коленях. Последнее, что я написал до того, как отвлекся, были слова «намеренно, намеренность, попытка установить контроль над будущим». Я писал это, подразумевая собаку, но, перечитав, забеспокоился. Я не мог сформулировать свои ощущения. Грязный, инфицированный, сумасшедший – в прямом смысле и с точки зрения морали. Неверно, что мысли не существуют без слов. У меня были и мысли, и чувства, и ощущения, и я пытался подобрать для них слова. Если вина относилась к прошлому, то чем будут определяться отношения с будущим? Намерением? Нет, оно не властно над будущим. Предчувствиями. Смутным беспокойством, неприязнью к будущему. Вина и предчувствия провели границу между прошлым и будущим, вертась в настоящем – единственной временной точке, которую можно обозначить. И это не именно страх. Страх слишком сфокусирован, у него должен быть объект. Ужас – слишком сильное слово. Боязнь будущего. И дурные предчувствия. Да, именно. Это были дурные предчувствия.

Трое спящих напротив меня не шевелились. Движение вращающихся дверей было словно последнее колебание маятника, и не осталось ничего, кроме микроскопического отзвука, почти вымысла. Кто этот только что вышедший человек? С чего такая поспешность? Я поднялся. Итак, значит, дурные предчувствия. Именно это я ощущал весь день. Очень просто, еще одна форма страха. Страх перед последствиями. Весь день я боялся. Неужели я настолько глуп, что не отличил страх с самого начала? Разве это не простейшая эмоция, такая же как недовольство, удивление, гнев и восторг, как учит нас знаменитая работа Экмана о пересечении культур? Разве страх и умение распознавать его у других не характеризует нервную активность мозжечковой миндалины, глубоко погруженной в старую, млекопитающую часть нашего мозга, откуда исходят все его моментальные реакции? Но моя собственная реакция не была моментальной. Мой страх спрятался под маской. Осквернение, замешательство, бормотание. Я боялся своего страха, потому что еще не знал его причины. Меня пугали изменения, которые произойдут со мной и через меня. И я не мог отвести глаз от дверей.

Вероятно, это была иллюзия, вызванная инерцией зрения, или случившаяся на уровне нервной системы задержка восприятия: мне казалось, что я сижу в том удобном кожаном кресле и смотрю на дверь, хотя я уже шел к ней. Перешагивая через две ступеньки широкой, покрытой

красным ковром лестницы, я быстро обогнул колонну на лестничной площадке, в три больших шага преодолел последний пролет и ворвался в канцелярскую, докомпьютерную тишину отдела заказов и каталогов. Увернулся от знакомых читателей, миновал книгу отзывов и предложений и напоминавшую о раздевалке в школе для мальчиков свалку из рюкзаков и пальто и вышел через главную дверь на улицу. Сент-Джеймс-сквер была забита автомобилями, пешеходов не было видно. Я высматривал белую обувь, кроссовки с красными шнурками. Я проскользнул между терпеливо урчащих автомобилей, стоявших в пробке. Я знал, какое место для наблюдения за библиотечными дверями выбрал бы сам: на северо-восточном углу, через дорогу от старого ливийского посольства. По дороге взглянул налево, вдоль Дьюк-оф-Йорк-стрит. Тротуары были пусты, проезжая часть заполнена машинами. Машины нынче стали членами нашего общества. Добравшись до перекрестка, я встал у ограды. Поблизости никого не было, даже пьяниц в парке. Я постоял немножко, оглядываясь и переводя дыхание. Это было именно то место, где выстрелом из окна через дорогу была убита каким-то ливийцем Ивон Флетчер, служившая в полиции. У моих ног лежал перевязанный шерстяной ниткой букетик ноготков. Такой букетик мог бы принести ребенок. Баночка из-под джема, в которой они стояли, валялась в стороне, в ней еще осталась вода. Продолжая оглядываться, я нагнулся и поставил цветы в банку. Придвигая банку поближе к забору, где ее, скорее всего, никто не пнет, я не мог отделаться от ощущения, что этот поступок принесет мне удачу или даже защитит от чего-то и что на таких умиротворяющих, дающих надежду поступках, сокрушающих непредсказуемые силы дикости и безумия, и строятся целые религии, возводятся целые философские системы.

Потом я вернулся в читальный зал.

В тот день у меня была еще одна встреча – я входил в жюри, присуждавшее премии научным книгам, так что когда я вернулся домой, Кларисса уже ушла ужинать со своим братом. Мне нужно было поговорить с ней. Усилия, затраченные на то, чтобы три часа подряд изображать здорового и объективного человека, порядком измотали меня. Наша уютная, почти изысканная квартира с ее привычной обстановкой показалась мне вдруг тесной и пыльной. Я смешал джин с тоником и выпил, прослушивая сообщения на автоответчике. Последнее сообщение состояло из тягостного, без единого вздоха, молчания, завершившегося стуком повешенной трубки. Мне хотелось поговорить с Клариссой о Перри, я должен был рассказать ей о ночном звонке, о том, как он следил за мной в библиотеке, о моем дискомфорте и дурных предчувствиях. Я даже подумал пойти и разыскать ее в ресторане, но представил, как в этот момент ее братец-прелюбодей заводит нескончаемый григорианский хорал о тяготах развода – болезненное самооправдание, воспевающее превращение любви в ненависть или безразличие. Кларисса, которой всегда нравилась его жена, явно будет от всего этого в шоке.

Чтобы успокоиться, я обратился к вечернему собранию страданий – к теленовостям. Сегодня показали массовое захоронение, обнаруженное в лесу в Центральной Боснии, больного раком министра и его любовное гнездышко и второй день суда над убийцей. Я находил какое-то утешение в знакомом формате: ритмы военной музыки, ровная, деловая интонация ведущего, успокаивающая правда о том, что все несчастья относительно; но вот наконец последний наркотик – прогноз погоды. Вернувшись на кухню, я смешал второй коктейль и сел с ним за кухонный стол. Если Перри выслеживал меня целый день, значит, ему известно, где я живу. Если нет, значит, мое душевное состояние весьма нестабильно. Но за свою психику я абсолютно спокоен, и он следит, и я должен как следует это обдумать. Его ночной звонок еще можно списать на стресс и пьянство в одиночестве, но никак не сегодняшнюю слезку. А я знаю, что он следил за мной, потому что видел его белую кроссовку с красным шнурком. Если только – а привычка сомневаться лишний раз доказывает мою нормальность, – если красный шнурок не привиделся мне или не был зрительным дополнением. Ковер в библиотеке все же был красным. Но я видел цвет, вплетающийся в мелькание кроссовки. И я чувствовал его

присутствие за спиной даже до того, как его увидел. Я признаю, что интуиция не доказательство. Но это был он. Как большинство людей, не сталкивавшихся с опасностью, я сразу же вообразил худшее. Какой я дал ему повод для убийства? Может, он думает, что я посмеялся над его верой? Вероятно, он звонил мне еще раз.

Сняв трубку радиотелефона, я набрал номер услуги «Последний входящий звонок». Компьютерный женский голос назвал незнакомый лондонский номер. Я набрал его, послушал и покачал головой. Как бы разумны ни были мои мысли, все же подтверждения я не ожидал. Автоответчик Перри произнес: «Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала. Да пребудет с вами Господь». Это был его голос, его слова. Его вера была так сильна, что проникала в мелководье автоответчика и в изгибы его бесцветной речи. Что он имел в виду, когда говорил, что чувствует то же самое? Чего он хотел?

Я огляделся в поисках джина, но решил остановиться. Проблема заключалась в том, как убить время до возвращения Клариссы. Я знал, если сейчас не придумать разумного занятия, то мне останется лишь размышлять да напиваться. Видеть друзей не хотелось, желания развлекаться я не испытывал, я даже не был голоден. Подобное опустошение было мне знакомо, справиться с ним всегда помогала работа. Я пошел в кабинет, включил свет, компьютер и достал свои библиотечные записи. Была четверть девятого. За три часа я мог бы закончить статью о сюжетном повествовании в научных работах. В общих чертах я уже наметил концепцию – не совсем такую, в которую верил сам, зато вокруг нее легко выстраивалась статья. Предлагать гипотезы, разбирать свидетельства, обдумывать возможные возражения и в заключение отметить их. Такой же, по сути, сюжетный ход, возможно, немного избитый, но исправно служивший тысяче журналистов до меня.

Работа стала для меня неким бегством, и я признавался себе в этом. Ответов на вопросы не было, и раздумья не продвинули бы меня на этом пути. Я предполагал, что Кларисса вернется не раньше двенадцати, поэтому запретил себе все серьезные и необоснованные размышления. Через двадцать минут я уже достиг желаемого состояния: бесконечная, с высокими стенами, тюрьма направленной мысли. Не всякий раз мне удавалось попасть в нее, и в тот вечер я был благодарен судьбе. Мне не нужно защищаться от плавающих обломков кораблекрушения, обрывков недавних воспоминаний, ошметков несделанной работы или призрачных останков сексуального желания. Берег мой был чист. Я не выманивал себя из кресла обещаниями кофе, и, несмотря на выпитый тоник, мне не

хотелось в туалет.

Именно дилетантская культура девятнадцатого века дала миру ученых, рассказывающих анекдоты. Всех этих джентльменов, не сделавших карьеры, священников, которым некуда было девать время. Сам Дарвин до путешествия на «Бигле» мечтал о жизни в деревне, где мог бы потихоньку предаваться своей страсти коллекционера, и даже когда гений и случай взяли его за горло, его дом в Дауни напоминал скорее приют, нежели лабораторию. Из всех литературных жанров тогда доминировал роман, обширное и пространное повествование о судьбах не только отдельных людей, но и целых обществ, посвященное самым популярным темам того времени. Большинство образованных людей читали романы своих современников. Рассказывать истории было типично для девятнадцатого века, это было у всех в крови.

А затем случились два изменения. Наука стала более сложной, и ею занялись профессионалы. Она переместилась в университеты, притчи проповедников уступили место абстрактным теориям, прекрасно существовавшим и без экспериментальной поддержки и имевшим собственную формальную эстетику. Тогда же в литературе и других видах искусства новоиспеченный модернизм провозгласил торжество формальных структурных качеств, внутренних взаимосвязей и самоосознания. Священнослужители оберегали храмы этого непростого искусства от посягательств обыкновенного человека.

Подобное случилось и в науке. Например, что касается физики, небольшая кучка посвященных в Европе и Америке приняла и одобрила эйнштейновскую общую теорию относительности задолго до ее подтверждения экспериментами. Теория, предложенная Эйнштейном человечеству в 1915—1916 годах, вносила предположение, в некотором смысле оскорбительное для общественного мнения, что гравитация – всего лишь эффект, вызванный искривлением пространственно-временного континуума, созданным материей и энергией. Теория предсказывала, что свет преломляется гравитационным полем солнца. В 1914 году в Крыму уже находилась экспедиция, готовая подтвердить или опровергнуть это, наблюдая за солнечным затмением, но началась война. В 1919-м была снаряжена другая экспедиция на два отдаленных острова в Атлантическом океане. Подтверждение облетело весь мир, но на неточные или неудобные данные смотрели сквозь пальцы, желая поскорее прижать к груди теорию. Снаряжались новые экспедиции для наблюдения затмений и проверки предсказаний Эйнштейна: в 1922 году в Австралию, в 1929-м на Суматру, в 1936-м в СССР и в 1947-м в Бразилию. И только когда развитие

радиоастрономии в пятидесятые годы представило неопровержимые экспериментально подтвержденные доказательства, стало ясно, что, по существу, все эти годы усилий были не нужны. Теория, начиная с двадцатых годов, уже была внесена в учебники. Ее внутренняя мощь была столь велика, а сама она столь прекрасна, что не покориться ей было невозможно.

Итак, изгибы сюжета уступили место эстетике формы, как в искусстве, так и в науке. Я печатал до вечера. Я посвятил слишком много времени Эйнштейну и теперь подбирал примеры других теорий, принятых по причине их изящества. Чем меньше я был уверен в своем предположении, тем быстрее печатал. Я нашел своего рода обратный пример в собственном прошлом – квантовая электродинамика. В те дни существовало множество экспериментальных подтверждений целого набора идей о свете и электронах, но собственно теория, особенно в том виде, в котором предложил ее Дирак, очень медленно завоевывала общее признание. Она была противоречивой и кривобокой. А проще говоря, эта теория была непривлекательной, незлегантной, ее мелодия резала слух. Признание буксовало на почве ее внешнего уродства.

Я проработал три часа и написал две тысячи слов. Можно было расписать еще и третий пример, но мои силы были на исходе. Распечатав страницы и разложив их на коленях, я взглянул и изумился, как такие ничтожные аргументы, настолько притянутые примеры смогли долго удерживать мое внимание. Контраргументы били ключом между аккуратными строчками текста. Чем я мог доказать, что романы Диккенса, Скотта, Тrolлопа, Теккерея и других повлияли хоть на одну запятую научных идей того времени? Более того, мои примеры были неправдоподобно перекошены в одну сторону. Я сравнивал легковесные науки девятнадцатого века (лукавая собака в библиотеке) с настоящими науками века двадцатого. В анналах викторианской физики и химии существовало бесконечное множество блестящих теорий, в которых не найти ни толики склонности к сюжетному повествованию. И какими в действительности были типичные продукты умственной деятельности ученых и псевдоученых двадцатого века? Антропология, психоанализ – буйство вымысла. Используя лучшие методы повествования, а также все уловки священников, Фрейд предъявил претензии к достоверности науки, хотя и не обвинил в фальсификации. А как насчет бихевиористов и социологов двадцатых годов двадцатого века? Словно армия Бальзаков в белых халатах, они взяли приступом университетские факультеты и лаборатории.

Я соединил двенадцать страниц скрепкой и взвесил их на ладони. Все, что я написал, не было правдой. Как и не было попыткой установить правду, не было наукой. Это была журналистика, лишь журналистика, высшим критерием которой является читабельность. Я помахал страницами, пытаюсь найти еще какие-нибудь утешения. Мне удалось с пользой отвлечься, из контраргументов можно создать отдельную связную статью (двадцатый век обнаружил результаты сюжетного повествования в научной речи и т. д.), это первый набросок, который я перепишу через неделю-другую. Я бросил страницы на стол, и, когда они приземлились, второй раз за день я услышал, как скрипнули за моей спиной половицы. Там кто-то был.

Примитивная, так называемая симпатическая нервная система – дивная штука, которую мы делим со всеми другими видами, выжившими благодаря умению быстро реагировать на перемены, становиться сильнее и изворотливее в драке или быстрее в бегстве. Эволюция добилась от нас этих умений. Нервные окончания, скрытые в тканях сердца, вырабатывают свой норадреналин, и сердце, получив толчок, пульсирует быстрее. Больше кислорода, больше глюкозы, больше энергии, быстрее мыслительный процесс, сильнее конечности. Эта система, сформировавшаяся в нашем далеком прошлом, так стара, что ее операции никогда не проникнут в сознание. Времени не хватит, и эффективности не прибавится. Мы получаем лишь результат. Одновременно с толчком в сердце осознается угроза; пока участки коры головного мозга, отвечающие за слух и зрение, сортируют и оценивают информацию, поступившую через глаза или уши, сильнодействующие капельки уже каплют.

Мое сердце впервые угрожающе стукнуло, прежде чем я начал оборачиваться, вставать с кресла и поднимать руки, готовый защищаться, а может, и атаковать. Мне кажется, что к современному человеку, не знающему других хищников, кроме самого себя, со всеми его игрушками, умными концепциями и удобными комнатами, ничего не стоит подкрасться. Белки и дрозды могут веселиться, глядя на нас сверху вниз.

Обернувшись, я увидел, как навстречу, выставив перед собой руки, как лунатик из мультфильма, быстро идет Кларисса, и кто знает, за счет какого вмешательства в работу нервных центров мне удалось правдоподобно трансформировать примитивный защитный жест в нежный знак предложения объятия и почувствовать, когда ее руки обвили мою шею, прилив любви, на самом деле неотделимый от облегчения.

– Ох, Джо, – сказала она, – я так скучала весь день, и я так тебя люблю. Я провела с Люком такой кошмарный вечер. Я очень тебя люблю.

И я очень ее любил. Сколько бы я ни думал о Клариссе, вспоминая или воображая, представляя ее, ощущения и звуки, связанные с ней, но ток любви, пробегавший меж нами почти на животном уровне, всегда оставлял, наряду с ощущением близости, привкус неожиданности. Возможно, такая амнезия и полезна – человек, не способный ни на минуту выбросить из головы и из сердца того, кого любит, обречен на поражение в битве за выживание и не оставляет после себя генетических следов. Мы стояли посреди кабинета, Кларисса и я, на желтом ромбе в центре бухарского ковра, целуясь и обнимаясь, и между да и сквозь поцелуи я услышал первые фрагменты истории безрассудства ее брата. Люк бросил свою милую, очаровательную жену и прелестных девочек-близняшек, а также дом в Ислингтоне в стиле эпохи королевы Анны ради того, чтобы жить с актрисой, с которой познакомился три месяца назад. Это явно пример более сильной амнезии. Поедая запеченные устрицы, он сказал, что подумывает оставить работу и написать пьесу, скорее даже монолог, спектакль для одной, той самой актрисы, и его, возможно, удастся поставить в зале над парикмахерской на Кенсал-Грин.

– Пока мы не попали в рай... – начал я, а Кларисса закончила:

– ... дорогой Кенсал-Грин^[10].

– Беспечная отвага, – сказал я. – Он, видно, живет в состоянии вечной эрекции.

– Отвага все обгадить! – Она резко выдохнула, и меня обдало ее возмущением. – Актриса! Он вечно впадает в банальности!

На мгновение я стал ее братом. В благодарность она снова притянула меня к себе и поцеловала.

– Джо, я хотела тебя весь день. После вчерашнего и после прошлой ночи...

Продолжая обниматься, мы двинулись из кабинета в спальню. Пока Кларисса сообщала мне новые подробности о разрушенном семейном очаге, а я пересказывал свеженаписанную статью, мы приготовили все для ночного путешествия в секс и сон. В тот вечер я уже немного прошел по этому пути, когда, вернувшись домой, испытывал лишь одно желание – поговорить с Клариссой о Перри. Работа набросила на меня вуаль абстрактного удовлетворения, а ее возвращение домой, несмотря на грустную историю Люка, полностью восстановило меня. Я больше ничего не боялся. Разве было бы правильно именно в тот момент, когда, как и накануне ночью, мы лежали лицом к лицу, портить наше счастье рассказом о телефонном звонке Перри? Придавленный вчерашними впечатлениями, мог ли я разрушить нашу нежность капризными подозрениями, что за мной

следят? Свет приглушен, а вскоре и вовсе будет выключен. Призрак Джона Логана все еще витал в комнате, но уже не пугал нас. Перри подождет до завтра. Вся срочность куда-то исчезла. С закрытыми глазами я исследовал двойную темноту красивых губ Клариссы. Она игриво куснула мой кулак. Бывают моменты, когда утомление служит лучшим возбуждающим средством, отгоняющим посторонние мысли, дарующим отяжелевшим конечностям медленные сладострастные движения, подстегивающим щедрость, понимание, беспредельное самоотречение. Мы выпали из своей полной забот жизни, как птенцы из гнезда. Телефон в темноте рядом с нашей кроватью не подавал признаков жизни. Много часов назад я выдернул шнур из розетки.

В нашем веке было время, когда корабли, белые океанские лайнеры, как, например, те, что роскошно рассекали волны Атлантики между Лондоном и Нью-Йорком, вдохновляли на создание новых форм местной архитектуры. Нечто напоминающее «Куин Мэри» налетело в двадцатые годы на рифы Мэйда-Вейл, от этого теперь остался лишь капитанский мостик – наш многоквартирный дом. Он белеет, как ободранный ствол среди обычных деревьев. У него закругленные углы, иллюминаторы в туалетах и особенное освещение на спиральных обмелевших лестничных колодцев. Низкие, продолговатые окна в стальных рамах противостоят шквалам городской жизни. На полу – дубовый паркет, способный выдержать сколь угодно щеголеватых пар, одновременно отбивающих чечетку. Две квартиры на самом верху – получше других: там несколько окон в потолке и железная лесенка в полтора пролета, ведущая на плоскую крышу. Наши соседи – преуспевающий архитектор и его приятель, который следит за домом, – устроили на своей территории изысканный сад, где клематисы аккуратно обвивают жерди и суровые острые листья пробиваются между больших гладких речных камней, в японском стиле разложенных по черным деревянным ящикам.

В первый безумный месяц после переезда наши с Клариссой скромные декораторские способности и потребности в обустройстве гнездышка исчерпались еще в квартире; на нашей части крыши не было ничего, кроме пластикового стола с четырьмя стульями, намертво прикрученными на случай сильного ветра. Здесь можно было сидеть среди телевизионных антенн и спутниковых тарелок – покатая крыша под ногами, морщинистая и пыльная, как слоновья шкура, – и смотреть на зелень Гайд-парка под монотонный шум лондонского транспорта. С противоположной стороны стола открывался великолепный вид на ухоженную соседскую святыню, а дальше тянулись сумрачные крыши бесконечных северных пригородов. Здесь я и устроился в семь часов на следующее утро. Оставив Клариссу спать дальше, я взял с собой кофе, газету и отпечатанную вчера статью.

Но вместо того чтобы читать свой или чужие опусы, я задумался о Джоне Логане и о том, как мы его убили. Вчера события того дня будто померкли. А сегодняшнее яркое солнце бросило свет на всю картину и оживило ее. Разглядывая свои царапины, я снова ощущал в руках веревку. Я занялся подсчетами. Если бы Гэдд оставался в корзине со своим внуком,

если бы все остальные не выпускали веревок, и из расчета, что каждый из нас весил не менее шестидесяти пяти килограммов, нашего общего веса в триста двадцать пять килограммов наверняка хватило бы, чтобы удержать корзину на земле. Если бы кто-то из нас первым не выпустил веревку, остальные наверняка остались бы на своих местах. Но кто же был первым? Не я. Не я. Я даже произнес это вслух. Вспомнил стремительно падающую фигуру и то, как воздушный шар внезапно подбросило вверх. Однако я не мог сказать, прямо передо мной пролетела эта фигура или, быть может, справа или слева. Если бы я мог это вспомнить, я смог бы назвать человека.

Можно ли осуждать его? Пока я пил кофе, внизу час пик начал свое медленное крещендо. Трудно было найти ответы на все вопросы. Фразы, банальные и разумные, приходили мне на ум, но ничего не объясняли. С одной стороны, первый камешек в оползне, а с другой – самовольный выход из строя. Причина, а не морально ответственное лицо. Стрелка весов колеблется от альтруизма до эгоизма. Была ли то паника или простой расчет? Действительно ли мы убили его или просто отказались умереть вместе с ним? Но если бы мы были с ним, остались с ним – никто бы не умер.

Другой волновавший меня вопрос – должен ли я навестить миссис Логан и рассказать ей, как все произошло. Она должна узнать от очевидца, что ее муж был героем. Я представил, как мы с ней сидим на деревянных табуретках друг напротив друга. Она закутана в черное, фарсовый вдовий траур, мы находимся в тюремной камере с зарешеченным окном. Двое ребятишек жмутся к ее ногам, не решаясь поднять на меня глаза. Моя камера, моя вина? Этот образ пришел ко мне с полузабытого викторианского полотна, сюжетной картины с подписью «Когда в последний раз ты видел отца?». Сюжет – от этого слова у меня заныло под ложечкой. Что за чушь написал я прошлой ночью! Разве возможно рассказать миссис Логан о жертве ее мужа, не привлекая внимания к нашей собственной трусости? Или сглупил он сам? Он был героем, а пославший его на смерть – слабаком. Или мы все уцелели, а он один оказался болваном, не сумевшим сложить два и два.

Я так запутался во всем этом, что не заметил Клариссу, пока она не села за стол напротив меня. Улыбнувшись, она послала мне воздушный поцелуй. Она грела руки о чашку с кофе.

– Ты об этом думаешь?

Я кивнул. Я должен был рассказать ей, прежде чем ее доброта и наша любовь сделают меня лучше.

– Помнишь, в тот день, когда это случилось, мы уже заснули и вдруг

зазвонил телефон.

– А, ошиблись номером.

– Звонил тот парень, с хвостиком. Тот, который все хотел, чтобы я помолился. Джед Перри.

Она нахмурилась.

– Почему же ты не сказал? Что он хотел?

Я выпалил:

– Он сказал, что любит меня...

На мгновение весь мир оцепенел, ожидая, когда до нее дойдет сказанное. А потом она рассмеялась. Легко и весело.

– Джо! И ты молчал! Стеснялся, дурачок?

– Это еще не все. И знаешь, я переживал, что не сказал тебе сразу, и мне становилось все хуже. А прошлой ночью я не хотел все испортить.

– Что же он сказал? Просто «я тебя люблю», и все?

– Да. Он сказал, я чувствую то же самое. Я люблю тебя...

Кларисса совсем по-девчоночьи прижала ладошку к губам. Я не ожидал такого восторга.

– Тайная гомосексуальная любовь с набожным педерастом!

– Ну хватит, хватит. – Но ее смешки приносили мне огромное облегчение. – Это еще не все.

– Вы решили пожениться.

– Послушай. Вчера он следил за мной.

– Вот это да! Он, наверное, влюбился по уши.

Я знал, что должен боготворить ее за это легкомыслие и за спокойствие, которое я обретал.

– Кларисса, это страшно. – Я рассказал ей о чьем-то присутствии в библиотеке и о том, как выбегал на площадь.

Она перебила:

– Но ведь на самом деле ты не видел его в библиотеке?

– Я видел его ботинок, когда он выходил за дверь. Белая кроссовка с красным шнурком. Это точно он.

– Но ведь лица ты не видел.

– Кларисса, это был он.

– Только не сердись, Джо. Ты ведь не видел его лица, и его не оказалось на площади.

– Нет. Он исчез.

Теперь она смотрела на меня по-другому и говорила осторожно, будто сапер, исследующий мину.

– Я вот что не поняла: тебе казалось, что за тобой следят, еще до того,

как ты увидел его кроссовки?

– Было просто ощущение. Довольно неприятное. Я не чувствовал этого, пока там, в библиотеке, у меня не выдалось времени, чтобы все проанализировать.

– А потом ты его увидел?

– Да. Его кроссовку.

Взглянув на часы, она отпила из кружки. Она уже опаздывала на работу.

– Тебе пора, – сказал я, – мы можем поговорить и вечером.

Она кивнула, но не двинулась с места.

– Я не очень понимаю, что тебя так расстраивает. Какой-то бедняга помешался на тебе и бродит за тобой. Ну и что, Джо, это просто смешно! Забавная история, которую ты будешь пересказывать друзьям. В худшем случае – мелкое хулиганство. Не переживай так.

Мне стало как-то по-детски грустно, когда она поднялась со стула. Мне нравилось то, что она говорит. Я хотел слышать это снова и снова на разные лады. Она обошла стол и поцеловала меня в макушку.

– Ты слишком много работаешь. Относись ко всему проще. И не забывай, что я тебя люблю. Люблю.

И мы поцеловались, на сей раз страстно.

Вслед за ней спустившись в квартиру, я глядел, как она собирается. Может, из-за озабоченной улыбки, которую она бросила мне, суетливо укладывая вещи в портфель, а может, из-за извиняющегося тона, которым сообщила, что вернется в семь и будет звонить в течение дня, только я, стоя на гладком паркете, предназначенном для танцев, чувствовал себя пациентом психбольницы, с которым прощаются до следующего раза навестившие его родственники. «Не оставляй меня здесь с моими мыслями, – думал я. – Избавь меня от них». Она надела пальто, открыла входную дверь, собираясь что-то сказать, но промолчала. Вспомнила про какую-то нужную книгу. Пока она ходила, я топтался у двери. Я знал, что именно хочу рассказать, и, возможно, время для этого еще не упущено. Перри не «какой-то бедняга». Этот человек связан со мной, как и с теми рабочими с фермы, общим опытом, общей ответственностью или, по крайней мере, общей причастностью к смерти другого человека. Кроме того, Перри хотел, чтобы я с ним помолился. Может быть, он был обижен. Может, он какой-нибудь мстительный фанатик.

Кларисса вернулась с книжкой и принялась засовывать ее в портфель, держа в зубах еще какие-то бумаги. Она уже почти ушла. Когда я начал свой монолог, она поставила портфель на пол, чтобы освободить рот и

руки.

– Извини, Джо. Извини. Я и так уже опоздала. Это ведь лекция. – Она помедлила, мучаясь сомнениями. – Ладно, давай рассказывай, только очень быстро.

Меня выручил зазвонивший телефон. Я-то думал, что у нее встреча с аспиранткой, а не лекция и, задерживая ее, я экономлю ее время.

– Иди, я возьму трубку, – бодро сказал я. – Вечером поговорим.

Она быстро поцеловала меня и исчезла. Подходя к телефону, я слышал ее шаги на лестнице.

– Джо? – раздался в трубке голос – Это Джед.

На миг лишившись дара речи, я удивился этой своей реакции. Ведь он уже звонил вчера, его имя вертелось у меня на языке и в мыслях. Его образ настолько занимал меня, что я забыл о его реальном существовании и не считал за живого человека, способного воспользоваться телефоном.

Назвав свое имя, он замолчал, а потом заговорил – в полной тишине.

– Ты звонил мне.

Он тоже знал, как связаться с последним звонившим. Телефон перестал быть просто телефоном. Безжалостное хитроумное приспособление позволяло вторгаться в личную жизнь.

– Чего ты хочешь? – Произнося эти слова, я уже раскаивался. Меня не интересовало, что он хочет, я вообще не хотел с ним говорить. Скорее это был не вопрос, а демонстрация враждебности. Как и следующая фраза: – Кто дал тебе мой номер?

Перри, казалось, обрадовался.

– Это целая история, Джо. Я отправился...

– Мне неинтересны твои истории. Я не хочу, чтобы ты мне звонил. – Я чуть было не прибавил «и ходил за мной», но почему-то сдержался.

– Нам нужно поговорить.

– Мне не нужно.

Я услышал, как Перри глубоко вздохнул.

– Думаю, нужно. По крайней мере, ты должен меня выслушать.

– Сейчас я повешу трубку. Если ты позвонишь еще раз, я обращусь в полицию.

Фраза показалась мне глупой, из разряда бессмысленностей, употребляемых людьми, например: «Я подам в суд на этого негодяя!» Я знал полицейских нашего участка. Они были очень заняты и умело расставляли приоритеты. Проблемы вроде моей граждане должны решать самостоятельно.

Перри немедленно отреагировал на мою угрозу. Его голос зазвучал

выше, а слова посыпались быстрее. Он должен был высказаться раньше, чем я его отсеку.

– Послушай, я обещаю. Давай встретимся один раз, только один раз. Выслушай меня, и тебе больше не придется иметь со мной дело. Я обещаю. Торжественно обещаю.

Торжественно. Скорее, панически. Я задумался: может, увидеться с ним, пусть он поглядит на меня и поймет, что я не гожусь для его фантастического мира. Пусть выговорится. А может, пойти по другому пути. Я мог бы изобразить отстраненное любопытство. Когда вся эта история закончится, знать что-нибудь о Перри будет очень важно. Иначе он так и будет оставаться моим отражением, а я – его. Промелькнула мысль заставить его привести с собой его бога, чтобы тот подтвердил это торжественное обещание. Но мне не хотелось его провоцировать.

Я спросил:

– Где ты находишься?

Он поколебался немного.

– Я могу прийти.

– Нет, скажи, где ты находишься.

– Я в телефонной будке в конце твоей улицы.

Так он сказал – будто спросил, без всякого смущения. Был раздосадован, но сумел это скрыть.

– Ладно, – сказал я. – Сейчас буду.

Я повесил трубку, надел пальто, взял ключи и вышел из квартиры. И с удовольствием обнаружил, что запах духов Клариссы еще витает в воздухе – вдоль всей лестницы, до самого низа.

За нашим домом тянулась вверх улица с платанами, на которых только что распустились листья. Ступив на тротуар, я сразу заметил Перри – он стоял на углу, под деревом, метрах в ста. Увидев меня, вынул руки из карманов, скрестил их на груди, потом бессильно опустил. Сделал несколько шагов в мою сторону, но передумал и вернулся под дерево. Я медленно пошел к нему, чувствуя, как тает мое беспокойство.

Когда я приблизился, Перри еще больше отступил к дереву, прислонился к нему спиной и принял безразличный вид, засунув большой палец в карман брюк. Но выглядел он жалко. Он казался ниже, одна кожа да кости, от ловкого индейского воина остались лишь собранные в хвостик волосы. Не поднял глаз, когда я подошел, точнее, нервно скользнул взглядом по моему лицу и сразу опустил глаза. Вытаскивая руку из кармана, я испытывал облегчение. Кларисса была права, он всего лишь безобидный парень со странностями, самое большее – мелкая помеха, и вряд ли опасен, как я воображал. Съездивший под свежей платановой листвой, он выглядел жалко. Произошел несчастный случай, последствия пережитого шока исказили мое восприятие действительности. Триллер оказался фарсом. Его рукопожатие нельзя было назвать крепким. Я заговорил с ним строго, но все же с некоторой теплотой. По возрасту он вполне годился мне в сыновья.

– Ну, выкладывай, в чем дело.

Он сказал:

– Там можно выпить кофе, – и кивнул в сторону Эджуэй-роуд.

– И здесь нормально, – сказал я. – У меня не так много времени.

Снова поднялся ветер, из-за тусклого солнечного света казавшийся более пронзительным. Запахнув пальто и завязав пояс, я украдкой взглянул на ботинки Перри. Сегодня на нем были не кроссовки. Коричневые ботинки из мягкой кожи, возможно, ручной работы. Я отошел и прислонился к ближайшей стене, скрестив руки.

Перри отодвинулся от дерева и встал напротив меня, исследуя свои ботинки.

– Думаю, лучше все-таки нам пойти. – В его голосе слышались жалобные нотки.

Я молча ждал. Он вздохнул, оглядел улицу, где я живу, и проводил взглядом проезжающую машину. Поднял глаза на груды кучевых облаков,

изучил ногти на правой руке, так и не решаясь взглянуть на меня. Когда он наконец заговорил, мне показалось, его взгляд был прикован к трещине в асфальте.

– Кое-что произошло, – сказал он.

Поскольку продолжать он не собирался, я спросил:

– Что же именно?

Он глубоко вздохнул, так и не поднимая на меня взгляда.

– Ты знаешь, о чем я, – угрюмо произнес он.

Я попытался ему помочь.

– Мы говорим о том несчастном случае?

– Ты знаешь, о чем я, но хочешь, чтобы я сказал.

– Да уж, так будет лучше. Мне скоро уходить.

– Все дело в контроле, правда? – Он быстро глянул на меня с подростковым вызовом и снова опустил глаза. – Глупо играть в игры. Почему бы тебе просто не взять и не сказать. В этом нет ничего постыдного.

Я взглянул на часы. В это время мне лучше всего работалось, к тому же еще нужно было съездить в центр забрать книгу. К нам приближалось пустое такси. Перри тоже его заметил.

– Думаешь, во всей этой истории ты выглядишь круто? Но это же смешно. Ты не сможешь удержать это в себе, ты ведь знаешь. Теперь все изменилось. Прощу тебя, не разыгрывай этот спектакль. Прощу тебя...

Он проводил взглядом такси. Я сказал:

– Ты просил о встрече, потому что хотел мне что-то сказать.

– Ты очень жесток. Но сила на твоей стороне.

Он снова набрал полную грудь воздуха, как будто готовился выполнить сложный цирковой трюк. Он сумел поднять на меня глаза и сказал просто:

– Ты меня любишь. Ты меня любишь, и мне остается только любить тебя в ответ.

Я промолчал. Перри снова глубоко вздохнул.

– Я не знаю, почему ты выбрал меня. Знаю лишь, что теперь тоже люблю тебя. В этом причина нашей встречи и ее цель.

Мимо промчалась неотложка с завывающей сиреной, и нам пришлось подождать. Я размышлял, как лучше отреагировать и поможет ли демонстрация негодования избавиться от него, но за несколько секунд вынужденной паузы решил говорить твердо и разумно.

– Послушайте, мистер Перри...

– Джед, – быстро сказал он. – Зови меня Джед. – Его вопросительный

тон куда-то исчез.

Я продолжил:

– Я не знаю вас, не знаю, где вы живете, чем занимаетесь; не знаю, кто вы такой. И не особенно стремлюсь узнать. Мы виделись с вами один раз, и должен сказать, я не испытываю к вам ни малейших чувств по этому поводу.

Перри попытался перебить меня, продолжая порывисто дышать. Он выставил руки, словно желая оттолкнуть от себя мои слова.

– Пожалуйста, не делай этого... Ты все делаешь не так, правда. Ты не должен так поступать со мной.

Внезапно мы оба замолчали. Я подумал, не пора ли оставить его и пойти искать такси. Возможно, разговоры только ухудшают ситуацию.

Перри скрестил руки и заговорил нормальным тоном, «как мужчина с мужчиной». Я почувствовал, что, возможно, он пародирует меня.

– Послушай. Ты не должен так к этому относиться. Ты можешь избавить от страданий нас обоих.

– Ты ведь вчера следил за мной? – спросил я.

Он отвел взгляд и промолчал, я счел это подтверждением.

– С чего ты взял, что я тебя люблю? – Я постарался, чтобы вопрос звучал искренне, а не риторически. Мне и вправду было интересно, хотя по-прежнему хотелось уйти.

– Не надо, – почти прошептал Перри. – Прошу тебя, не надо. – Его нижняя губа тряслась.

Но я усилил нажим:

– Насколько я помню, мы говорили там, у подножия холма. Ничего удивительного, что после таких событий ты чувствуешь себя странно. Я и сам себя странно чувствую.

На этих словах, к моему великому удивлению, Перри закрыл лицо руками и разрыдался. Он пытался что-то сказать, но я поначалу ничего не расслышал. Потом разобрал.

– Почему? Почему? Почему? – твердил он. А потом, немного успокоившись, он выговорил: – Что я тебе сделал? Почему ты так себя ведешь? – За этим вопросом последовал новый поток слез.

Я отошел от стены, где стоял, и двинулся прочь. Он шел за мной, пытаясь справиться с голосом.

– Я не могу, как ты, контролировать свои чувства, – сказал он. – Я понимаю, именно это дает тебе власть надо мной, но я ничего не могу с этим поделать.

– Поверь, мне не нужно контролировать какие-то чувства.

Он вглядывался в мое лицо с жадностью и отчаянием.

– Если это шутка, то уже не смешная. Она вредит нам обоим.

– Послушай, – не выдержал я, – мне пора идти. И надеюсь, что больше я тебя не услышу.

– Боже, – заныл он, – ты говоришь такое, да еще с таким лицом. Неужели ты вправду этого хочешь?

Я почувствовал, что задыхаюсь. Развернувшись, я быстро пошел к Эджвер-роуд. Я слышал, как он бежит за мной. Вдруг он вцепился мне в рукав и попытался взять меня за руку.

– Пожалуйста, пожалуйста, – невнятно бормотал он. – Ты же не можешь вот так все бросить. Скажи что-нибудь, мне нужна самая малость. Правда или хотя бы часть правды. Скажи только, что мучаешь меня, я не буду спрашивать зачем. Только сознайся, что это так.

Я выдернул руку и остановился.

– Я не знаю, кто ты такой. Я не понимаю, чего тебе нужно, и мне это не интересно. А теперь оставь меня в покое!

Неожиданно он обиделся:

– Очень смешно. Ты даже не пытаешься разубедить меня. Это оскорбительнее всего.

Он упер руки в бока, и я впервые поймал себя на расчетах, насколько он опасен физически.

Я был крупнее и все еще в неплохой форме, но я ни разу в жизни никого не ударил, а он со своими огромными костяшками был на двадцать лет моложе и в отчаянии. Я выпрямился, чтобы казаться выше.

– Мне и в голову не приходило тебя оскорблять, – сказал я. – До этого момента.

Перри убрал руки с бедер и продемонстрировал мне открытые ладони. Больше всего меня утомляло многообразие его эмоций и скорость, с которой они менялись. Безумие, слезы, отчаяние, неясная угроза и, наконец, открытая мольба:

– Джо, прошу тебя, посмотри на меня, вспомни, кто я такой, вспомни, что ты почувствовал тогда, при первой встрече.

Белки его глаз были исключительно чисты. На секунду он встретился со мной взглядом и снова отвел глаза. Я заметил, что это некий нервный тик, который начинается у него во время разговора. Он ловил взгляд, потом поворачивал голову и обращался к невидимому собеседнику, стоящему сбоку, или какому-то созданию, сидящему у него на плече.

– Не отрицай нас, – сказал ему Перри на этот раз. – Не отрицай того, что у нас есть. И прошу тебя, не играй в эти игры со мной. Я знаю, тебе

нелегко дается эта мысль, ты будешь ей сопротивляться, но в том, что мы встретились, была цель.

Я собирался идти не останавливаясь, но его страстность на мгновение остановила меня, и я почувствовал достаточно сильное любопытство, чтобы переспросить:

– Цель?

– Что-то пробежало между нами, там, на холме, после падения. Это была чистая энергия, чистый свет? – Перри начал приходить в себя, его сиюминутное горе прошло, и в его фразы вернулась вопросительная интонация. – Факт твоей любви ко мне и моей к тебе не так важен. Это лишь средство...

– Средство?

Он обращался к моим сдвинутым бровям, словно объясняя дурачку очевидные вещи:

– Средство привести тебя к Господу через любовь. Ты как безумный борешься с этим, потому что ты сам еще очень далеко от собственных чувств? Но я знаю, Христос живет в тебе. Где-то в душе, и ты это знаешь. Именно поэтому ты так сопротивляешься всем своим разумом, логикой, знаниями и этим отстраненным тоном, будто не являешься частью целого? Можешь делать вид, что не понимаешь, о чем я говорю, тебе ведь хочется обидеть и унижить меня, но главное, что я пришел с дарами. Цель состоит в том, чтобы привести тебя к Христу, который есть в тебе и который есть ты. В этом и заключается дар любви. Все очень просто?

Я слушал его монолог, стараясь подавить зевоту. Но он был так искренен, так безобиден и подавлен и нес такую чепуху, что я почувствовал к нему настоящую жалость.

– Послушай, – произнес я как можно мягче, – чего именно ты хочешь?

– Я хочу, чтобы ты открылся для...

– Да, да. Но что именно я должен сделать? Или мы должны?

Вопрос оказался для него трудным. Он замялся и, прежде чем ответить, взглянул на нечто, сидящее на его плече.

– Я хочу тебя видеть.

– И что именно делать?

– Говорить... узнавать друг друга.

– Только говорить? И больше ничего?

Он не ответил и не поднял на меня глаз.

Я продолжил:

– Ты все время повторяешь слово «любовь». Может, мы говорим о сексе? Может, ты этого хочешь?

Очевидно, мой удар пришелся ниже пояса. В его голосе опять послышались ноющие нотки:

– Ты же прекрасно знаешь, мы не можем говорить об этом в таком тоне. Я уже объяснял, мои чувства не имеют значения. Существует цель, о которой на данном этапе ты можешь и не догадываться.

Он говорил еще что-то в том же духе, но я почти не слушал. Как странно было стоять в собственном пальто, на собственной улице, холодным майским утром, во вторник, и разговаривать с незнакомцем в терминах, больше подходящих для любовного романа или брака на грани развода. Словно сквозь брешь в моем собственном существовании я провалился в другую жизнь, с другим набором сексуальных предпочтений, другим прошлым и будущим. Я очутился в мире, где другой мужчина мог сказать мне: «Мы не можем говорить об этом в таком тоне» и «Мои чувства не имеют значения». Меня изумляло и то, что сам я не употреблял фраз вроде «Да ты кто вообще такой?», «Что за бред ты несешь?». Язык, на котором говорил Перри, вызывал во мне старые эмоциональные подпрограммы. Усилием воли я старался отделаться от ощущения, будто чем-то обязан этому человеку, что проявляю неблагоразумие, что-то скрывая от него. В каком-то смысле я принимал участие в этой домашней драме, хотя нашим домом был лишь этот тротуар, заляпанный птичьим пометом.

Кроме того, мне было интересно, понадобится ли мне помощь. Перри знал, где я живу, а я не знал о нем ничего. Я перебил его:

– Будет лучше, если ты дашь мне свой адрес.

Он вынул из кармана карточку, на которой было напечатано его имя и адрес на Фрогнал-лейн в Хэмпстеде. Я убрал карточку в бумажник и прибавил шагу. Я заметил еще одно приближающееся такси. Мне было все еще немного жаль Перри, но уже было ясно, что разговорами делу не помочь. Он торопливо шагал сбоку от меня.

– Куда ты поедешь? – Он напоминал любопытного ребенка.

– Попрошу больше меня не беспокоить, – ответил я и поднял руку, чтобы остановить такси.

– Я знаю, что ты чувствуешь на самом деле. Если ты устраиваешь мне проверку, то это абсолютно лишнее. Я никогда не предаю тебя.

Машина остановилась, я открыл дверцу, чувствуя, что начинаю сходить с ума. Когда я попытался захлопнуть дверцу, оказалось, что Перри вцепился в нее. Он не пытался сесть в машину, но у него явно было что сказать напоследок.

– Я знаю, в чем твоя проблема. – Он наклонился ко мне и сообщил,

перекрывая урчание двигателя: – Ты слишком добрый. Только все равно придется посмотреть боли в лицо, Джо. Единственный выход для нас троих – все обсудить.

Я собирался хранить молчание, но не смог удержаться:

– Троих?

– Кларисса. Лучше сказать ей все начистоту...

Дальше я слушать не стал и, сказав таксисту: «Поехали», – обеими руками дернул дверь на себя.

Когда мы отъехали, я обернулся. Перри стоял на дороге и махал мне вслед, махал печально, хотя выглядел при этом тем не менее как человек, счастливый в любви.

Я попросил таксиста отвезти меня в Блумсбери. Откинувшись на сиденье, попытался успокоиться и припомнил те неясные, смешанные чувства, которые испытал накануне, выбежав в поисках Перри на Сент-Джеймс-сквер. Потом он представлялся мне незнакомцем, на которого проецировались все мои необъяснимые страхи. Теперь я считал его эксцентричным, неуравновешенным молодым человеком, не способным взглянуть мне в глаза и нисколько не страдающим от собственных эмоциональных устремлений и неадекватности. Он был фигурой патетической, не угрожающей, как оказалось, а раздражающей, способной, как и предсказывала Кларисса, превратить себя в забавную историю. Вероятно, после столь напряженной встречи пытаться не думать о ней было ошибкой. Но тогда это казалось разумным и необходимым – я и так потерял полдня. Раньше чем машина проехала первый километр, я мысленно переключился на работу, запланированную на день, на статью, которую я начал обдумывать, поджидая Клариссу в Хитроу.

Тогда я собирался начать длинную статью об улыбке. Редактор одного научного американского журнала намеревался посвятить целый выпуск, как он выражался, интеллектуальной революции. Биологи и психологический эволюционизм занимались переоценкой социальных наук. Послевоенное единодушие. Стандартная Социально-Научная Модель разваливалась на части, человеческая природа требовала пересмотра. В этот мир мы приходим не белым листом и не обучаемой чему угодно машиной. Теперь мы считаемся «продуктами» нашего окружения. Если мы желаем узнать, что мы такое, нам придется узнать, откуда мы пришли. Мы эволюционировали, как любое другое создание на земле. Мы пришли в мир со способностями и ограничениями, полностью генетически предопределенными. Многие наши черты, размер ноги, цвет глаз – фиксированы, другим же, как, например, социальному и сексуальному поведению или владению языком, предстоит развиваться. Но ход развития не произволен. Он заложен в нас природой. Современная биология человека поддерживает Дарвина; эмоциональная мимика в разных культурах во многом схожа, а младенческая улыбка – именно тот социальный знак, который легче всего изолировать и изучать. Он проявляется у детей из племени кунсан в Калахари в то же самое время, что и у американских детишек в западной части Манхэттена, и с тем же

результатом. Как здорово выразился Эдвард О. Уилсон, этот сигнал «вызывает более щедрые проявления родительской любви и привязанности». Затем он продолжает: «Пользуясь терминологией зоолога, этот социальный раздражитель есть врожденный и относительно неизменный сигнал, призванный создавать основу для социальных отношений».

Несколько лет назад издатели не думали ни о чем, кроме хаоса. Теперь они бьются головой о рабочие столы, пытаясь осветить любые намеки на неodarвинизм, эволюционную психологию и генетику. Я не жаловался, бизнес вполне меня устраивал, но Кларисса выступала против этого проекта в принципе. Рационализм, впавший в неистовство.

– Это новый фундаментализм, – высказалась она однажды вечером. – Двадцать лет назад и ты, и твои друзья были убежденными социалистами и во всех неудачах человечества винили окружающую обстановку. Теперь каждый для вас превратился в пленника собственных генов, которые стали причиной всех причин!

Она смутилась, когда я прочел ей абзац из Уилсона.

– Наука докопалась до самой сути, – сказала она, – но в процессе был утрачен большой смысл. Все, что зоолог может сказать о младенческой улыбке, по большому счету интереса не представляет. Суть этой улыбки отражается в глазах и сердцах родителей и в начинающейся любви, которая только и имеет смысл в масштабах вечности.

Это были наши обычные ночные посиделки за кухонным столом. Я сказал, что, по-моему, в последнее время она проводит в обществе Джона Китса слишком много времени. Хотя он, без сомнения, и гений, но в то же время и ретроград, убежденный, что наука обкрадывает мир чудес, который только и имеет значение. Если мы обсуждаем ценность младенческой улыбки, почему бы не рассмотреть ее источник? Может быть, всех младенцев веселит им одним известная шутка? А может, Господь спускается и щекочет их? Или, что более правдоподобно, они учатся улыбаться у своих матерей? Но ведь улыбаются и слепоглухие от рождения дети. Эта улыбка, должно быть, в них заложена и по веским эволюционным причинам. Кларисса сказала, что я не понял ее. Нет ничего плохого в анализе мелочей, но велик риск упустить из виду целое. Тут я согласился. Момент синтеза решает все. Кларисса сказала, что я по-прежнему имею в виду другое, а она говорила о любви. Я ответил, что и я говорю о ней и о том, как дети, не умеющие даже говорить, стараются получить этой любви по максимуму. Кларисса сказала, нет, я все еще не понимаю ее. Нам пришлось закончить этот разговор. Но никто не обиделся. Мы поднимали

эту тему часто и по разным поводам. На самом же деле в этот раз мы обсуждали отсутствие детей в нашей жизни.

Я забрал свою книгу в «Диллонсе»^[11] и минут двадцать листал ее. Я горел желанием сесть за работу и поэтому поехал домой на такси. Когда, расплатившись с водителем, я вышел из машины, то увидел Перри, поджидающего меня прямо у входа в мой дом. А чего я ждал? Что он исчезнет, потому что я выбросил его из головы? Когда я подходил, вид у него был слегка смущенный, но сдавать позиции он не собирался.

Он заговорил, когда нас разделяло еще несколько шагов:

– Ты велел подождать, вот я и жду.

Ключи от дома были у меня в руке. Я помедлил. Хотел было напомнить ему, что не говорил ничего подобного, и о его «торжественном обещании». А еще я задумался, не стоит ли поговорить с ним еще раз, чтобы яснее представлять себе его состояние. Но перспектива снова оказаться втянутым в домашнюю драму, на сей раз на узкой, выложенной кирпичом дорожке между двумя стриженными кустами бирючины, внушала мне ужас.

Я показал ему ключ и сказал:

– Ты мешаешь мне пройти.

Он продолжал загораживать вход:

– Я хочу поговорить о том случае.

– А я не хочу. – Я приблизился еще на два шага, словно он был призраком и через него вполне можно было вставить ключ в скважину.

Он снова принялся завывать:

– Послушай, Джо. Нам так много нужно обсудить. Я знаю, ты тоже об этом думаешь. Давай посидим вместе и решим, что тут можно сделать.

Я отодвинул его плечом, сухо бросив: «Прошу прощения». Удивительно, как он подался в сторону от моего прикосновения. Он оказался легче, чем я думал. Он дал отодвинуть себя, и я смог открыть дверь.

– Дело в том, – произнес он, – что я отношусь к случившемуся с позиции прощения.

Я шагнул внутрь, готовый не дать ему пройти за собой. Но он остался стоять на месте, и, закрыв за собой дверь, я увидел сквозь небьющееся стекло, как шевелятся его губы, произносящие какое-то слово, возможно то же «прощение». Я поднялся на лифте на свой этаж и только вошел в квартиру, как зазвонил телефон. Это могла быть Кларисса, пообещавшая звонить. Я бросился к телефону и схватил трубку.

Но это был Перри.

– Прошу тебя, Джо, не пытайся спрятаться от этого, – начал он.

Бросив трубку, я выдернул шнур из сети. Но тут же передумал и включил обратно. Я отключил звонок и запустил автоответчик. Подходя к окну, услышал, как он включился. На противоположной стороне улицы, так чтобы его было видно, стоял Перри и прижимал к уху мобильный телефон. Я слышал его голос на автоответчике у себя за спиной:

– Джо, любовь Господа найдет к тебе дорогу. – Он поднял голову и, вероятно, успел заметить меня прежде, чем я отодвинулся от занавески. – Я знаю, что ты здесь. Я тебя вижу. Я знаю, что ты слушаешь...

Я вернулся в коридор и убавил громкость на автоответчике. Умылся холодной водой в ванной и принялся разглядывать в зеркале покрытое каплями лицо, размышляя о том, каково это – увлечься таким человеком, как я. Этот момент, в точности как тот, в поле, когда Кларисса протянула мне бутылку вина, можно считать отправной точкой истории, потому что, видимо, тогда я начал осознавать, что все это не закончится и к вечеру. Возвращаясь по коридору к автоответчику, я подумал, что меня втянули в отношения.

Я откинул крышку автоответчика. Пленка на кассете еще моталась. Прибавив громкость на одно деление, я услышал слабые интонации голоса Перри:

– ... убежать от этого, Джо, но я люблю тебя. Ты запустил этот механизм и не можешь теперь выйти из игры...

Я быстро прошел к себе в кабинет, снял трубку факса и позвонил в полицию. За несколько секунд, пока происходило соединение, я успел понять, что не знаю, что говорить. Послышался женский голос, строгий и скептический, закаленный ежедневным общением с потоком паники и боли.

Я заговорил недовольным и убедительным тоном добропорядочного гражданина:

– Я хочу сообщить о преследовании. Систематическом преследовании.

Меня переключили на мужчину, в голосе которого слышалась та же спокойная осмотрительность. Я повторил свое заявление. Секундная заминка, и мне задан первый вопрос.

– Вас кто-то преследует?

– Да. Я был...

– Человек, доставляющий вам неприятности, находится рядом?

– В эту минуту он стоит рядом с моим домом.

– Он причинил вам какой-либо физический ущерб?

– Нет, но...

– Он угрожал вам расправой?

– Нет.

Понятно, мою жалобу пытаются втиснуть в привычную бюрократическую форму. Не существует достаточно гибкой системы, способной работать с каждым рассказом. Раз нет возможности пожаловаться, я постарался найти утешение в том, что моя история вписалась в узнаваемый жанр. Поведение Перри должно расцениваться как преступление.

– Он угрожает вашей собственности?

– Нет.

– Или третьим лицам?

– Он пытается вас шантажировать?

– Нет.

– Вы сможете доказать его намерение причиняют вам беспокойство?

– Ну... нет.

Официальная нейтральность полицейского сменилась на почти человеческий интерес. Мне показалось, я различил йоркширский акцент.

– Можете тогда рассказать мне, что же он делает?

– Он постоянно звонит мне. Он говорит со мной так, как будто...

Голос моментально вернулся на оставленные позиции, к списку вопросов:

– Вы считаете его поведение оскорбительным или непристойным?

– Нет. Послушайте, офицер, дайте мне объяснить. Он псих. И не собирается оставлять меня в покое.

– Вас беспокоят его истинные намерения?

Я задумался. И впервые осознал, что на фоне голоса моего офицера раздаются и другие голоса. Возможно, там у них целые ряды таких же, как он, полицейских офицеров и целый день у них в наушниках грабежи, убийства, суициды, поножовщина. И я был там вместе с остальными – насильно обращаемый среди бела дня.

Я сказал:

– Он хочет спасти меня.

– Спасти вас?

– Обратить меня, понимаете? Он одержим. Он просто так от меня не отстанет.

Полицейский нетерпеливо перебил меня:

– Извините, сэр. Полиция не занимается такими делами. Пока он не причиняет вреда вам или вашему имуществу и не угрожает сделать это, ему нечего вменить в вину. Попытка обращения в свою веру не является

противозаконным действием. – Нашу краткую беседу он завершил собственным резюме: – В нашей стране свобода вероисповедания.

Вернувшись к окну гостиной, я посмотрел на стоящего внизу Перри. Он уже перестал разговаривать с моим автоответчиком. Просто стоял лицом к дому, засунув руки в карманы, бесстрастный, как немецкий шпион.

Я налил кофе в термос и, сделав несколько бутербродов, удалился в кабинет, выходящий окнами на другую улицу, и уселся, чтобы перечитать, а точнее, перелистать свои заметки. Вся сосредоточенность испарилась. Назойливость Перри усугубляла уже посетившее меня чувство неудовлетворенности. Оно возвращалось ко мне время от времени, после каких-то огорчений, – осознание того, что все идеи, с которыми я имею дело, принадлежат другим. Я лишь сопоставляю и классифицирую результаты чужих исследований, а затем показываю их широкой публике. Мне говорили, что у меня талант к разъяснениям. Сделать увлекательную историю из нагромождений, отступлений и случайных удач, обычных спутников большинства научных прорывов, – это я умею. Конечно, кто-то должен стоять между исследователем и рядовым читателем, чтобы давать профессиональные разъяснения, для которых средний сотрудник лаборатории слишком занят или слишком осторожен. Верно и то, что я немало заработал, раскачиваясь, как обезьяна-паук, на самых высоких деревьях в джунглях модной науки – на динозаврах, черных дырах, квантовой магии, хаосе, сверхпроводниках, нейронауке и хорошо забытом Дарвине. Прекрасно иллюстрированные книги в твердых обложках, документальные сериалы на телевидении, «круглые столы» на радио и конференции в самых прекрасных уголках планеты.

Но в такие тоскливые моменты я снова считал себя паразитом и, возможно, не ощущал бы этого так сильно, не имея я приличного образования по физике и ученой степени по квантовой электродинамике. Я сам должен был быть там, чтобы добавить свою частичку на гору человеческих знаний. Но после семи лет прилежной учебы, покинув университет, я был в нетерпении. Я бросился путешествовать – дико, безрассудно и слишком далеко. Наконец, вернувшись в Лондон, я занялся бизнесом вместе с другом. Мы решили разработать устройство, некий хитроумно фазированный набор каналов, над которым я работал в свободное время, пока учился в аспирантуре. Предполагалось, что этот маленький предмет сможет улучшить работу определенных микропроцессоров и, как мы надеялись, в скором времени без него не сможет обойтись ни один компьютер. Одна немецкая компания оплатила нам перелет первым классом до Ганновера, и года два мы мечтали, что

станем миллиардерами. Но наша заявка на патент была отвергнута. Другая команда из научного парка под Эдинбургом оказалась там раньше нас, к тому же с лучшей электроникой. Но потом компьютерная индустрия все равно сделала поворот на сто восемьдесят градусов. Наша компания так и не вышла на рынок, а ребята из Эдинбурга разорились. К тому моменту, как я вернулся к квантовой электродинамике, пробел в моей биографии оказался слишком большим, моя математика ослабла, а сам я, уже не двадцатилетний, выглядел слишком старым для участия в этой конкурентной игре.

Возвращаясь с последнего собеседования, я уже знал – по подчеркнутой любезности, с которой мой старый профессор провожал меня до двери: с академической карьерой покончено. Размышляя, что же делать теперь, я брел под дождем по Экзебишн-роуд. Когда дождь превратился в настоящий ливень, я как раз проходил мимо Музея естественной истории, и с парой дюжин других прохожих мне пришлось укрыться в музее. Я сел обсохнуть рядом с моделью диплодока в натуральную величину и со странным удовлетворением принялся рассматривать толпу. Большие группы людей чаще всего вызывают у меня смутную мизантропию. Однако на сей раз любопытство и заинтересованность, подмеченные мною в этих людях, казалось, придавали им некое благородство. Все вошедшие, независимо от возраста, зачарованно стояли и смотрели, удивляясь необыкновенному зверю. Я подслушал несколько разговоров, и, помимо увлеченности, меня потряс общий уровень невежества. Слышал, как девятилетний мальчик спрашивал троих пришедших с ним взрослых, могла ли такая зверюга поймать и съесть человека. Из шаблонных ответов взрослых становилось ясно, что их представления о ходе эволюции ниже всякой критики.

Сидя в музее, я начал обдумывать некоторые разрозненные факты, которые сам знал о динозаврах. Вспомнил книгу Дарвина «Плавание на «Бигле»», где он рассказывает о больших окаменевших костях в Южной Америке и о том, насколько решающим для его теории оказался вопрос определения их возраста. Его вдохновили аргументы, выдвинутые геологом Чарльзом Лайеллом. Земля гораздо старше четырех тысяч лет, отпущенных ей Церковью. В наше время борьба хладнокровных с теплокровными завершилась в пользу последних. Геологические открытия свидетельствовали о разнообразных катаклизмах, осложнявших жизнь на Земле. Огромный кратер в Мехико мог появиться вследствие падения метеорита, завершившего эпоху динозавров и давшего маленьким крысоподобным тварям, копошащимся у ног монстров, шанс занять их

нишу, а млекопитающим (и особенно приматам) – процветать. Существовала также заманчивая теория о том, что динозавры вообще не вымерли. Они подчинились эволюционной необходимости и превратились в безобидных птичек, которых мы откармливаем у себя на задних дворах.

Выходя из музея, я уже имел план книги, набросанный на обороте заявления о приеме на работу. Три месяца я читал и шесть писал. Сестра моего партнера по неудачному бизнесу оказалась художником-оформителем и любезно согласилась подождать с гонораром. Книга вышла в тот момент, когда любая история о динозаврах была обречена на успех, и обеспечила мне контракт на черные дыры. Так началась моя трудовая жизнь, и чем больше сыпалось на меня успехов, тем плотнее закрывались передо мной двери в науку. Я стал журналистом, комментатором, аутсайдером собственной профессии. Мне никогда не вернуть тех дней, помнится, тяжелых, когда я занимался настоящим серьезным исследованием магнитного поля электрона, посещал, и не как слушатель, а как активный, хоть и второстепенный, участник, конференции по проблемам существования бесконечно больших величин в теориях перенормируемости. Теперь ни один ученый, даже сотрудник лаборатории или университетский привратник никогда больше не воспримут меня всерьез.

И вот, в этот самый день, когда я устроился с кофе и бутербродами в своем кабинете и не мог написать ни строчки об улыбке, а под окном, как часовой, стоял Перри, – ко мне опять вернулись воспоминания о бесславном конце моей научной карьеры. Время от времени я слышал щелчок срабатывающего автоответчика. Примерно раз в час ходил в гостиную и проверял. Он так и стоял на месте, глядя на дверь, будто собака, привязанная у магазина. Лишь один-единственный раз он говорил со мной по телефону. А в основном неподвижно стоял, ступни слегка разведены, руки в карманах, лицо, насколько я мог судить, выражало сосредоточенность или, может, ожидание счастья.

Когда я выглянул в пять часов, он исчез. Я задержался у окна, воображая, что могу разглядеть на опустевшем месте его силуэт, мерцающее сияние в неярко дневном свете. Потом подошел к автоответчику. На счетчике высвечивались тридцать три сообщения. Я проматывал их, пока не наткнулся на голос Клариссы. Она надеется, что у меня все в порядке, вернется в шесть и очень меня любит. Еще три раза звонили по работе, так что счет Перри составил двадцать девять очков. Не успел я осмыслить это число, как пленка на кассете снова закрутилась. Я прибавил громкость. Звук был такой, будто говорили из такси:

– Джо, ты гениально придумал с занавесками. Я сразу все понял. Я хочу сказать это снова. Я тоже это чувствую. Правда чувствую. – На последней фразе от эмоций его голос чуть взлетел вверх.

С занавесками? Я вернулся в гостиную и поглядел на занавески. Они висели так же, как всегда. Мы никогда их не раздвигали. Я приподнял одну штору, нелепо рассчитывая найти за ней подсказку.

А потом я снова сидел в кабинете – не работал, а предавался размышлениям и ждал Клариссу, – и снова ко мне вернулись мысли о том, как я дошел до жизни такой, как все могло бы сложиться иначе и, что совсем уж смехотворно, как я мог бы еще вернуться в настоящую науку и успеть достичь чего-нибудь до пятидесятилетия.

О возвращении Клариссы лучше рассказывать с ее точки зрения. Или, по крайней мере, с той точки, которую я воссоздал позднее. Кларисса вернулась домой с пятью килограммами книг и бумаг в кожаной сумке, которую она несла полмили от метро, а потом еще три пролета вверх по лестнице. У нее был трудный день. Во-первых, аспирантка, с которой она вчера занималась, «зеленая» девчонка из Ланкастера, позвонила и начала бессвязно кричать сквозь слезы. Когда Кларисса успокоила ее, девушка обвинила Клариссу в данном ею непомерно большом списке литературы и тупиковом направлении, выбранном для ее исследования. Семинар по поэзии романтизма провалился, так как двое студентов, обязанные подготовить доклады для обсуждения, не сделали их, а остальные не удосужились ничего прочесть. Еще утром Кларисса обнаружила, что где-то оставила свой ежедневник. За обедом ей пришлось выслушивать сетования коллеги на то, что муж слишком нежен с ней в постели и не проявляет необходимой сексуальной агрессии, чтобы обеспечить ее таким оргазмом, которого она, по ее мнению, заслуживает. Три часа Кларисса провела на заседании ученого совета, где ее ловко вынудили проголосовать за наименее плохое решение, в результате которого бюджет ее отделения сократился на семь процентов. Оттуда она пошла на организационное собрание, устроенное руководством, где ей напомнили, что сроки составления рабочего расписания давно прошли и что ее преподавательская, исследовательская и административная нагрузки распределены неравномерно.

Подниматься с сумкой по ступенькам Клариссе слишком тяжело, и она решает, что, видимо, простудилась. У нее давит в переносице и щиплет глаза. Кроме того, начинает болеть поясница – а у нее это верный признак вирусной инфекции. Самое скверное – воспоминания о воздушном шаре не

оставляют ее. Ей так и не удалось полностью забыть об этом, но большую часть дня все представлялось отдаленной, похожей на анекдот историей, не имеющей к ней особого отношения. А теперь это впечатление рассеялось. Как запах, оставшийся на кончиках пальцев. Со второй половины дня ее преследовал образ падающего Логана. Одновременно с этим появляется ощущение ужасной беспомощности, и именно оно, казалось, дает симптомы простуды или гриппа. Еще раз обсуждать случившееся с друзьями не имело смысла, потому что, как ей кажется, она достигла определенного уровня бесчувственности. Дойдя до последнего лестничного пролета, Кларисса замечает, что боль охватила коленные суставы. Или так происходит всегда, когда идешь с книгами по ступенькам, а тебе уже не двадцать? Вставляя ключ в замочную скважину, Кларисса немного приободряется, представив, что дома ее ждет Джо, который, когда нужно, умеет быть таким заботливым.

Переступив порог, она замечает, что он ждет ее в дверях кабинета. Выглядит он бешеным, таким она его давно не видела. Это состояние ассоциируется у нее со сверхамбициозными проектами, необыкновенными и по большей части глупыми планами, которые частенько будоражат спокойного и собранного мужчину, которого она любит. Он бросается к ней и заговаривает, не дожидаясь даже, пока она закроет за собой дверь. Не поцеловав ее и не поздоровавшись, он принимается рассказывать какую-то историю о преследовании и идиотизме, из-под которой высовываются какие-то обвинения, а может, даже злость на нее, потому что она оказалась не права, говорит он, но теперь он оправдан. И не успевает она поставить сумку и поинтересоваться, о чем идет речь, как он уже меняет тему на сто восемьдесят градусов и пересказывает ей недавний разговор со старым другом из Института физики элементарных частиц на Глостер-роуд, в котором друг пообещал устроить ему встречу с профессором. Клариссе хочется сказать только: «А кто меня поцелует? Обними меня! Позаботься обо мне!» Но Джо продолжает спешить, будто год не видел ни одного человека. В какой-то момент он слепнет и глохнет, и Кларисса поднимает руки, словно капитулируя, и говорит: «Отлично, Джо. Пойду приму ванну». Но и после этого он не останавливается, возможно, даже не слышит. Она поворачивается, чтобы пойти в спальню, он идет за ней, входит в комнату и все твердит на разные лады, что ему необходимо вернуться в науку. Она уже слышала это раньше. Последний серьезный кризис случился два года назад, и Джо пришел к заключению, что должен смириться со своей жизнью, в конце концов, это не худший вариант, — на этом вопрос считался закрытым. Теперь он пытается перекричать шум льющейся из кранов воды,

снова вернувшись к истории о преследовании, она слышит имя Перри и все вспоминает. Вот оно что. Ей казалось, она прекрасно понимает Перри. Одиноким человек с неустойчивой психикой, религиозный фанатик, возможно, живущий без родителей, изнывающий от желания с кем-то пообщаться, с кем угодно, хоть с Джо.

Джо стоит в дверном проеме ванной комнаты, как недавно обнаруженная непрерывно болтающая обезьяна. Болтающая, но лишь о чем-то своем. Кларисса отодвигает его и возвращается в спальню. Хорошо бы попросить его принести стакан белого вина, думает она, но ему тоже захочется выпить и посидеть с ней, пока она принимает ванну, тогда уж, раз он не собирается заботиться о ней, лучше просто побыть одной. Она садится на край постели и начинает расшнуровывать ботинки. Если бы она и вправду заболела, она бы сказала об этом. У нее пограничное состояние, возможно, она просто устала и огорчена воскресным происшествием, и не в ее принципах устраивать шум из-за пустяков, поэтому она задирает ногу, а Джо опускается на одно колено, чтобы снять с нее ботинок, не переставая, однако, говорить. Он хочет снова заняться теоретической физикой, ему нужна поддержка факультета, он будет счастлив заниматься чем угодно, куда бы ни завело его обучение, и у него есть идеи по поводу виртуального фотона.

Она стоит в чулках и расстегивает блузку. Соскальзывающая одежда и толстый ковер под ногами, осязаемый сквозь шелк чулок, дико возбуждают ее, и она вспоминает эту ночь и прошлую, печаль, и эмоциональные качели, и секс, а еще она вспомнила, что они любят друг друга, но сейчас просто оказались в совершенно разных психологических вселенных с совершенно разными потребностями. Только и всего. Все изменится, и не стоит делать многозначительных выводов, продиктованных лишь ее состоянием. Она снимает блузку, прикасается к застегке лифчика, но передумывает и отводит руку. Ей уже лучше, но не настолько, и не хочется подавать Джо неправильный сигнал, учитывая, что он может его и не заметить. Возможно, если бы ей удалось провести полчаса в ванной, причем в одиночестве, она смогла бы выслушать его, а он смог бы выслушать ее. Нормально поговорить и выслушать друг друга... это всегда идет на пользу отношениям. Она проходит через комнату, чтобы повесить юбку, а затем снова садится на кровать и снимает чулки. Слушая Джо вполуха, она думает о Джессике Марлоу, коллеге, жаловавшейся за обедом на своего мужа, слишком мягкого и деликатного в сексе. Какой партнер тебе достается и как складываются ваши отношения, во многом зависит от случая и от тысяч последствий неосознанного выбора, так что никому на

свете никакими разговорами не удастся исправить того, что с самого начала пошло наперекосяк.

Джо объясняет ей, что его устаревшие знания в математике больше не являются проблемой, ведь теперь это может взять на себя компьютер. Кларисса видела Джо за работой и знает, что физику-теоретика, как и поэту, кроме таланта и хорошей идеи нужен лишь острый карандаш и листок бумаги – ну или мощный компьютер. Если он так хочет, он может прямо сейчас отправляться в свой кабинет и «возвращаться в науку». Факультет, профессора, единомышленники, должность, которые, как он говорит, ему нужны, на самом деле лишь защищают Джо от провала, потому что его никогда не пустят обратно. (Сама Кларисса уже порядком устала от всех университетских атрибутов.) Она надевает поверх белья халат. Его снова потянуло к безумным прошлым целям, потому что он расстроен – воскресное происшествие и в нем все перевернуло. Беда рассудительного и осторожного Джо в том, что он не принимает в расчет собственные эмоции. Кажется, Джо не понимает, что его аргументы не что иное, как бред, что у него помрачение ума и истинная причина в другом. Поэтому он так уязвим, но сейчас она не чувствует в себе сил, чтобы опекать его. Джо, как и она, достиг в трагедии с Логаном предела бесчувственности, но еще не подозревает об этом. Только ей хочется спокойно полежать в горячей мыльной воде, а ему – изменить свою жизнь.

Вернувшись в ванную, она добавляет в горячую воду немного холодной, а также пихтового масла и соли с запахом сирени и, поразмыслив, еще и подаренную крестницей на Рождество эссенцию. Ее, как гласит этикетка, использовали еще древние египтяне, чтобы, принимая ванну, наполняться мудростью и внутренней гармонией. Она выливает весь флакон. Джо опускает на унитаз крышку и садится на него. Их отношения вполне позволяют выразить желание побыть одному без дополнительных объяснений, но его настойчивость сдерживает ее. Особенно сейчас, когда он снова говорит о Перри. Погрузившись в зеленую воду, Кларисса заставляет себя полностью сконцентрироваться на том, что говорит Джо. Полиция? Ты звонил в полицию? Он оставил тридцать три сообщения? Но, придя домой, она видела на счетчике ноль. Он говорит, что все стер, и тогда Кларисса от удивления садится в ванне и пристально смотрит на него. Ее отец умер от болезни Альцгеймера, когда ей не было и двенадцати, ее всегда страшила перспектива жить с человеком, который сходит с ума. Именно поэтому она выбрала рационалиста Джо.

Что-то в ее взгляде, или в том, как внезапно напряглась ее больная спина, или в том, как от удивления приоткрылся ее рот, заставляет Джо

запнуться на слове «феномен» и замолчать, после чего он спрашивает более мягким тоном:

– Что случилось?

Не сводя с него глаз, она говорит:

– Ты не умолкаешь с тех пор, как я вошла. Сбавь обороты, Джо. Сделай пару глубоких вдохов.

Его готовность немедленно выполнить ее просьбу выглядит очень трогательно.

– Как ты себя чувствуешь?

Глядя в пол перед собой, он кладет руки на колени и на выдохе громко произносит:

– Я в смятении.

Она ждет, что Джо продолжит, пояснит свою мысль о смятении, но он ждет, что скажет она. Они слушают аритмичное постукивание трубы с горячей водой, спрятанной за ванной. Кларисса произносит:

– Знаю, я уже говорила об этом, так что не сердись. Но, может быть, ты все же делаешь из мухи слона в истории с этим Перри? Может, проблемы-то и нет? Может, стоит пригласить его на чашку чая, и он навсегда отвяжется? Причина твоего смятения не в Перри, он лишь симптом.

Пока Кларисса говорит все это, она думает о тридцати стертых сообщениях. А может быть, Перри или такой Перри, каким описывает его Джо, вообще не существует. Она чувствует озноб и снова погружается в воду, продолжая смотреть на Джо.

Он долго обдумывает ее высказывание.

– Симптом чего именно?

Холодок настороженности, прозвучавшей в последнем слове, заставляет ее смягчить тон.

– Ну, я не знаю. Старых грустных мыслей о том, что ты больше не занимаешься наукой.

Она надеется, что дело действительно в этом.

Он снова старательно обдумывает услышанное. От ее вопросов он неожиданно устал. Он был похож на ребенка, безнаказанно засидевшегося, пока она принимает ванну, хотя ему давно пора в постель. Он говорит:

– Можно взглянуть на это и по-другому. Я попал в дурацкую ситуацию и никак не могу с ней справиться. Я вне себя и потому начинаю думать о работе, о той работе, которой я должен заниматься.

– Но почему ты считаешь, что с этой ситуацией нельзя справиться? С этим парнем, я имею в виду.

– Я же тебе только что объяснял. Я пытался с ним поговорить, и он, почти не шевелясь, простоял у меня под окнами семь часов. Он звонил весь день. В полиции говорят, это не их случай. И что прикажешь мне делать?

Кларисса чувствует, как ее сердце на мгновение захлестнуло холодной волной, как всегда, когда на нее кто-то злится. Но в то же время она понимает, что добилась именно того, чего не желала. Погрузилась в эмоциональное состояние Джо, в стоящую перед ним дилемму, в его проблемы и потребности. Она ничего не может поделать с нарастающим инстинктом защитницы. Ее осторожные вопросы должны были помочь ему, а теперь она вознаграждена агрессией с его стороны, при этом ее собственные нужды так и остались незамеченными. Она была готова позаботиться о себе сама, если уж ему не до того, но даже в таком убежище ей было отказано. Она быстро отбрасывает его вопрос своим:

– Почему ты стер сообщения с автоответчика?

Он не ждал такого поворота.

– Что ты сказала?

– Очень простой вопрос. Тридцать сообщений могли быть предъявлены полиции как доказательство преследования.

– Но в полиции...

– Ладно. Я могла бы их послушать. Это было бы доказательством для меня.

Она встает в ванне и тянется за большим полотенцем. От резкого движения у нее темнеет в глазах. Может, у нее какие-то нелады с сердцем.

Джо тоже встает.

– Я так и знал, чем все закончится. Ты мне не веришь.

– Не знаю, что и думать. – Она вытирается непривычно резко. – Я знаю только, что, вернувшись после своего трудного дня, я попала прямоком в твой.

– Трудный день. Ты думаешь, это нечто вроде «трудного дня»?

Они снова в спальне. Она уже переживает, что зашла слишком далеко. Но так уж получилось, она вышла из ванной раньше времени, и теперь достает свежее белье, хотя боль в спине так и не прошла. Кларисса и Джо ссорятся редко. Она плохо подбирает аргументы. Она никогда не принимала условностей обряда помолвки, позволяющего и даже требующего говорить не то, что думаешь, а также не совсем правду или заведомую неправду. Она не может отделаться от ощущения, что каждое ее колючее высказывание отдаляет ее не только от любви Джо, но и от всей любви, которая есть в ее жизни, и что тщательно скрываемая прежде стервозность – это ее подлинная сущность.

У Джо проблема в другом. Он не сразу выходит из себя, но, даже когда злится, особый склад ума мешает ему запоминать расклад и вести счет взаимным обидам. Кроме того, он не в силах изменить привычке отвечать на каждое обвинение развернуто и логично – вместо того чтобы выдвинуть встречное обвинение. Его легко сбить с толку неуместным замечанием. Раздражение не дает ему понять самого себя, и только позже, успокоившись, он может мысленно сформулировать речь в свою защиту. К тому же с Клариссой очень трудно быть жестким, ее слишком легко ранить. Злые слова как удары отпечатываются на ее лице.

Но сейчас они словно персонажи спектакля, остановить который им не под силу, и в воздухе – пугающая свобода.

– Этот парень ведет себя возмутительно! – продолжает Джо. – Он свихнулся из-за меня. – Кларисса пытается что-то сказать, но он отмахивается. – Я не могу донести до тебя серьезность ситуации. Тебя волнует лишь то, что я сейчас не массирую тебе ноги после трудного дня.

Такая ссылка на нежность полчасовой давности шокирует самого Джо не меньше, чем Клариссу. Тогда он не возражал, ему даже нравилось.

Она отворачивается, но все-таки не отступает и говорит то, что собиралась:

– С тех пор как вы встретились, ты только о нем и думаешь. Похоже, ты просто выдумал его.

– Точно. Так и было. Я сам выдумал его себе на голову. Я сам решил свою судьбу. Такая у меня карма. Я думал, даже ты выше этой новомодной чуши.

«Даже» выскакивает из ниоткуда, вливаясь в ритм, маленьким опрометчивым усилителем. Кларисса в жизни не проявляла даже отдаленного интереса к новомодным веяниям. Она глядит на него в изумлении. Оскорбление освобождает и ее.

– Еще вопрос, кто из-за кого свихнулся.

Предположение, что он сходит с ума по Перри, кажется Джо столь чудовищным, что он не находит ответа и лишь восклицает:

– О господи!

Бессмысленная энергия бросает его через комнату к окну. Под окном никого. Количество разлитой в воздухе злости внушает полуодетой Клариссе чувство уязвимости, и, воспользовавшись заминкой после своей реплики, она сдергивает юбку с вешалки. Еще две вешалки падают на пол, но она не поднимает их, как сделала бы раньше.

Джо набирает полную грудь воздуха и на выдохе отворачивается от окна. Он демонстративно пытается успокоиться, будто собирается

возобновить разговор в разумном ключе, будто он разумный мужчина, который не прибегает к крайностям. Он говорит тихо, с придыханием, подчеркнуто медленно. Где мы набираемся таких штучек? Неужели они также заложены в нас вместе с остальным набором эмоций? Или мы заимствуем их у киногероев? Он говорит:

– Послушай, там возникла проблема, – он показывает на окно, – только я хотел твоей помощи и поддержки.

Но Кларисса не чувствует никакой разумности. В низком голосе и прошедшем времени глагола «хотеть» она угадывает самолюбование и обвинения в свой адрес. Ей не хочется упоминать, что он всегда получал ее помощь и поддержку. Вместо этого она избирает другую тактику, единым усилием придумывая и вспоминая обиду:

– Помнишь, он позвонил в первый раз и сказал, что любит тебя? Ты признался, что тогда солгал мне.

Джо так ошеломлен, что может лишь смотреть на нее, и, пока его губы пытаются вымолвить хоть слово, Кларисса, не закаленная в подобных битвах, испытывает восторг триумфа, который так легко перепутать с мстительностью. В тот момент она искренне полагает, что ее предали, и поэтому считает своим долгом добавить:

– Так что я должна думать? Скажи мне. Тогда и посмотрим, какая помощь и поддержка тебе нужна. – Она сует ноги в домашние туфли.

К Джо возвращается дар речи. В его голову одновременно пришло столько возражений, что он запутался.

– Подожди минуту. Ты правда считаешь...

Кларисса, чувствуя, что ее ремарки не выдержат обсуждения, выходит из игры лидером и покидает комнату в момент, когда еще так приятно представляться обманутой.

– Ну и пошла ты! – кричит Джо ее удаляющейся спине. Он чувствует, что был бы не прочь схватить табуретку и швырнуть ее в окно. Это он должен был уйти. После недолгих колебаний он выскакивает из комнаты, обгоняет в коридоре Клариссу, срывает с крючка пальто и выбегает, громко хлопнув дверью, очень довольный, что ей пришлось услышать этот грохот.

Выйдя из дома, он удивляется, насколько уже стемнело. К тому же идет дождь. Он плотнее запахивает пальто, завязывает пояс и, увидев поджидающего Перри на тротуаре, даже не замедляет шаг.

Казалось, стоило мне выйти на улицу, как дождь усилился, но возвращаться за шляпой или зонтом я не собирался. Игнорируя Перри, я с такой яростью устремился вперед, что когда на углу обернулся, нас уже разделяло метров пятьдесят. Волосы у меня промокли, а в правый ботинок сквозь треснувшую подошву, которую я уже давно старался не замечать, просочилась вода. Мой гнев превратился в ледяной свет, ни на кого не направленный, словно у ребенка.

Конечно, во всем был виноват Перри, вставший между мной и Клариссой, но я злился на них обоих – он был бедствием, от которого она не желала меня защитить, – и на весь свет, особенно на этот мерзкий дождь и на то, что я понятия не имел, куда иду.

Но было и еще что-то, словно кожица, мягкая оболочка вокруг сердцевины моего гнева, ограждающая ее и придающая ей театральность. Был какой-то обрывок воспоминаний, мелочь, слабый отблеск забытых книг, не связанный с моими нынешними интересами, но обитающий во мне возвращающийся эпизод детского сна. А теперь я подумал, что тут есть некая связь и она может мне помочь. Ключевым было слово «занавеска», я представил, как оно выглядит, написанное моим почерком, а капли дождя у меня на ресницах дробили и преломляли свет уличных фонарей, и от этого слово будто разваливалось на части, пробивалось ассоциациями сквозь экран, скрывающий воспоминания. Я увидел огромный дом, вдалеке, на размытой черно-белой фотографии в старой газете, и высокую изгородь, и, возможно, кого-то в военной форме, охранника или патрульного. Но даже если та самая занавеска висела именно в этом доме, мне это все равно ничего не давало.

Я шел вперед, мимо настоящих домов, больших освещенных вилл, поднимающихся над высокими воротами с домофоном, за которыми я различал небрежно припаркованные машины. В подобном настроении я сознательно и с удовольствием забыл о нашей квартире стоимостью в полмиллиона фунтов и развлекался, представляя себя бедным опустившимся бродягой, который под дождем плетется мимо домов богачей. Кому-то повезло, а я прошляпил те несколько шансов, что подарила мне судьба, и теперь никому нет дела до такого ничтожества, как я. Я не играл так со своими чувствами с подросткового возраста и, обнаружив, что это у меня еще получается, обрадовался, будто пробежал

милю за пять минут. Но потом, когда я снова попытался ощутить слово «занавеска», не возникло ни тени ассоциаций, и, замедляя шаг, я размышлял, с какой же филигранной точностью настроен мозг, если невозможно даже изобразить поддельную эмоцию без того, чтобы он не преобразовал уравнения миллионов других неразличимых цепочек.

Я почувствовал приближение моего мучителя прежде, чем услышал, как он то ли выкрикнул, то ли проблеял мое имя. Он позвал еще раз:

– Джо! Джо! – Я понял, что он всхлипывает. – Это все ты. Ты все затеял, все случилось из-за тебя. Ты со мной все время играешь и еще делаешь вид...

Он не смог закончить фразу. Я снова набрал скорость и почти бегом миновал следующий перекресток. Его крики и мой топот слились в ужасную какофонию. Мне было противно и страшно. На другой стороне улицы я оглянулся. Он следовал за мной, но в этот момент стоял на середине дороги, ожидая просвета в веренице машин. Существовал крошечный шанс, что он свалится под колеса проезжающего автомобиля, и мне этого хотелось. Желание было холодным и острым и не вызвало во мне ни удивления, ни стыда. Заметив, что я наконец к нему повернулся, он вывалил целую кучу вопросов:

– Когда же ты оставишь меня в покое? Ты достал меня. Я ничего не могу поделать. Почему ты не признаешься? Почему ведешь себя так, будто не понимаешь, о чем я говорю? А потом эти сигналы, Джо! Зачем ты все это делаешь?

Он все еще торчал посреди дороги, его фигура и реплики через неравные промежутки времени скрывались за проносящимися машинами, и он повысил голос до такого пронзительного визга, что я не мог отвести от него глаз. Я должен был воспользоваться моментом и бежать со всех ног, чтобы оторваться. Но его ярость завораживала, и я, потрясенный, продолжал смотреть, хоть и не теряя веры, что ошибка будет исправлена и в семи метрах от меня его, сыплющего проклятиями и мольбами, раздавит автобус.

Он визжал, выкрикивая фразы с повторяющейся восходящей интонацией, как будто жалкая птица из зоопарка, наполовину ставшая человеком:

– Чего ты хочешь? Ты любишь меня и хочешь меня уничтожить! И делаешь вид, будто ничего не происходит! Ничего не происходит! Гад! Ты играешь... мучаешь меня... тайком подаешь мне гадкие сигналы, чтобы я продолжал тебя ждать! Я знаю, чего ты хочешь, гад! Гад! Думал, я не знаю? Ты хочешь забрать меня у... – Я не разобрал нескольких слов из-за

грузовика размером с дом. – И ты думаешь, что можешь меня у него забрать. Но ты придешь ко мне. В конце концов. Ты и к нему придешь, никуда не денешься. И тогда, гад, ты будешь молить о прощении, будешь ползать на брюхе...

Рыдания Перри сослужили ему добрую службу. Он шагнул ко мне, но его заставила отступить несущаяся по середине дороги машина с сердито ревущим клаксоном, звук которого исказил печальный вскрик Перри удаляющимся доплеровским эффектом. В какой-то миг, пока он кричал, мне стало почти жаль его, несмотря на враждебность и даже отвращение. Но, наверное, жалость – не совсем правильное слово. Глядя на него, стоявшего там, бредящего, я испытывал облегчение оттого, что не я стою на его месте, – то же чувствуешь при виде пьяного или шизофреника, дирижирующего перед уличным транспортом. А еще я подумал: такой взвинченный, потерявшийся в действительности он не может причинить мне вреда. Ему была нужна помощь, хоть и не моя. И вместе с тем я испытывал расплывчатое желание видеть этого зануду размазанным по асфальту совершенно без моего участия.

Пока я слушал его, мои мысли и чувства сделали три полных оборота и появилась некая зацепка. Подсказка заключалась в слове, произнесенном дважды: сигнал. Оба раза оно заставляло трепетать и колыхаться беспокоившую меня раньше занавеску; два слова слились и образовали элементарную конструкцию: занавеска использовалась в качестве сигнала. Я подобрался к разгадке ближе, чем раньше. Я почти схватил ее. Некий огромный дом, знаменитая лондонская резиденция, где сообщения передавались при помощи занавесок...

Продираясь сквозь эти хрупкие ассоциации, я задумался о занавесках в своем кабинете, а потом и о самом кабинете. Не об уюте и фонариках из рисовой бумаги, не о мерцании красного и синего на бухарских коврах, не о подводных оттенках моего поддельного Шагала («Le Poete Allonge», 1915) – мне представились пять полок вдоль тридцатиметровой стены, заставленных папками для бумаг, черными подписанными коробками с газетными вырезками, а напротив, у окна, глядящего на юг, – компьютер с тремя гигабайтами данных на жестком диске, готовых помочь мне выстроить мост между тем особняком и двумя этими словами.

Я вспомнил о Клариссе, и неожиданно на меня обрушилась радостная волна любви, наша размолвка показалась мне пустяком, который так легко исправить – не потому, что я был не прав и вел себя недостойно, а именно потому, что я был так очевидно и неоспоримо прав, а Кларисса просто ошиблась. Я должен к ней вернуться.

Дождь не кончался, но заметно ослаб. Светофор в двухстах метрах от нас загорелся красным, и по расположению приближающихся машин я понял, что через несколько секунд Перри сможет перейти на мою сторону. Поэтому, пока он плакал, закрыв лицо руками, я скрылся. Наверное, он и не увидел, как я развернулся и побежал вдоль особняков по узкой улице. Но даже если бы в своем отчаянии он смог собраться с духом и пуститься за мной так же быстро, я бы увеличил скорость, свернул за угол и исчез через минуту.

Дорогой Джо, я чувствую, как радость, словно электрический ток, струится по моим жилам. Я закрываю глаза и вижу, как ты стоишь под дождем, отделенный от меня дорогой, и невысказанная любовь связывает нас, словно стальным тросом. Я закрываю глаза и вслух благодарю Господа, даровавшего жизнь тебе и даровавшего жизнь мне в то же самое время и в том же самом месте и позволившего начаться нашему странному приключению. Я благодарю Его за каждый пустяк, что есть у нас. Сегодня утром я проснулся и увидел на стене у кровати ровный круг солнечного света и возблагодарил Его за то, что тот же солнечный свет падает на тебя. Так же как прошлой ночью соединял нас дождь, льющийся на тебя и на меня. Я восхваляю Господа, ниспославшего меня тебе. Я знаю, нас ждут трудности и боль, но через эти трудности Он ведет нас к цели. К Его цели! Он испытывает нас и закаляет нас, и, пройдя долгий путь, мы обретем еще большую радость.

Знаю, я должен просить у тебя прощения – хотя это слово слишком слабое. Вот я стою перед тобой, нагой, беззащитный, взываю к твоей милости, молю о прощении. Потому что ты узнал нашу любовь в самом начале. Ты узнал с первого взгляда, брошенного на меня там, на холме, после того, как он упал, всю силу и святость любви, пока я стоял как слепой и глухой, отвергая ее, пытаюсь защититься от нее, делая вид, что ничего не происходит, что ничего подобного не может произойти, и игнорировал все, что говорили мне твои глаза и каждый твой жест. Я думал, будет достаточно спуститься за тобой с холма и предложить вместе помолиться. Ты был совершенно прав, что рассердился на меня, не замечаящего то, что ты уже увидел. Все произошедшее так очевидно. Почему я отказывался признать это? Ты, наверное, считал меня бесчувственным тупицей. Ты правильно сделал, что отвернулся от меня и ушел. Даже сейчас, вспоминая момент, когда ты начал взбираться обратно на холм, – так и вижу твои ссутуленные плечи и тяжелую походку, говорящие об отказе, – я стенаю, думая о том, как вел себя. Какой я идиот! Я мог потерять все, что у нас есть. Джо, именем Господа, прошу, прости меня.

Сейчас ты хотя бы знаешь – я видел то же, что и ты. И ты, стесненный обстоятельствами и деликатностью по отношению к чувствам Клариссы, встретил меня знаками, которых не перехватить постороннему глазу или

уху, потому что они понятны мне одному. Ты знал, что я не мог не прийти к тебе. Ты ждал меня. Именно потому я и позвонил тогда среди ночи, как только понял, о чем говорили мне твои глаза. Когда ты снял трубку, я услышал в твоём голосе облегчение. Ты ничего мне не ответил, но не думай, что я не уловил твоей благодарности. Я повесил трубку и расплакался от радости; мне кажется, и ты тоже плакал. Вот она, новая жизнь. Ожидание, одиночество и молитвы наконец принесли свои плоды, и я встал на колени и благодарил Господа снова и снова до самого рассвета. А ты спал в ту ночь? Думаю, нет. Ты лежал в темноте, прислушиваясь к дыханию Клариссы, и размышлял о том, куда приведет нас эта история.

Джо, ты действительно дал жизнь чему-то новому!

Как много мы должны сказать друг другу, сколько наверстать. Исследования начались на дне океана, а на поверхности это никак не отражается. Вот что я имею в виду: ты заглянул в мою душу (в этом я уверен) и знаешь, как заглянуть еще глубже, но ты практически ничего не знаешь о моей обычной жизни – как я живу, где я живу, мое прошлое, мою историю. Это лишь внешняя оболочка, я знаю, но наша любовь должна включить в себя все. О твоей жизни я знаю уже многое. Я сделал это своей работой, своей задачей. Ты втянул меня в свою повседневную жизнь и потребовал разобраться в ней. Дело в том, что я ни в чем не могу тебе отказать. Если придется сдавать экзамен по тебе, я получу высший балл, не перепутаю ни малейшей детали. Ты будешь мною гордиться!

Итак, моя внешняя оболочка. Я знаю, скоро ты здесь побываешь. Это маленький домик, отступивший чуть назад от изогнувшейся Фрогнал-лейн, окруженный лужайками, с собственным внутренним двором в середине, который нельзя увидеть, даже шагнув с улицы за ворота (чего не делает никто, кроме почтальона) и подойдя к входной двери. Это уменьшенная копия какого-то большого французского дворца. На окнах даже есть решетчатые ставни, тускло-зеленые, а на крыше флюгер-петушок. Дом принадлежал моей маме (четыре года назад она умерла от рака), а ей достался в наследство от сестры, которая получила его после развода за несколько недель до смерти в автокатастрофе. Я рассказываю тебе все это, потому что не хочу, чтобы у тебя было ложное представление о моей семье. Брак моей тетки был ужасен, она вышла за пройдоху, который сделал деньги во время бума на недвижимость, но остальные члены семьи ходили на службу и едва сводили концы с концами. Отец умер, когда мне было восемь. У меня есть старшая сестра в Австралии, но мы не смогли ее разыскать, когда умерла мама, да она по какой-то причине и не была упомянута в завещании. Еще у меня полно кузин, с которыми я не

поддерживаю отношений, и, насколько мне известно, я единственный в семье, кто продолжал учиться после шестнадцати лет. И вот теперь я король в своем замке, который Бог подарил мне для своих целей.

Я чувствую твое присутствие везде. Не думаю, что буду тебе еще звонить. Неудобно перед Клариссой, а письмо сблизит нас еще больше. Я представляю, как ты сидишь рядом со мной и видишь то же, что и я. Я сижу за деревянным столиком на крытом балконе, который выступает из кабинета и нависает над внутренним двором. Капли дождя падают на два цветущих вишневых дерева. Одна ветка перевешивается через перила, и с такого близкого расстояния мне видно, как вода собирается в овальные бусины, словно окрашенные лепестками в бледно-розовый цвет. Любовь подарила мне новые глаза, теперь я вижу все с такой ясностью, различаю мельчайшие подробности. Прожилки на дереве старых перил, каждую отдельную травинку на мокрой лужайке под балконом, черные щекотливые лапки божьей коровки, минуту назад пробежавшей по моей руке. Мне хочется погладить и потрогать все, что я вижу. Наконец-то я очнулся от сна. Я чувствую в себе столько жизни, я так возбужден от любви.

Вот я написал о прикосновениях и о мокрой траве и сразу вспомнил. Вчера вечером ты вышел из дома и провел рукой по верхушке кустарника – сначала я не понял, в чем тут дело. И я прошел по дорожке, и протянул руку, и погладил пальцами листья, которых ты коснулся. Я почувствовал каждый листочек в отдельности и испытал шок, осознав, что они отличаются от тех, которых ты не коснулся. Какое-то свечение, какое-то тепло от этих мокрых листьев разливалось под моими пальцами. И тогда я все понял. Ты не просто дотронулся до них, ты оставил на них простое послание. Ты знал, что я не пропущу его, Джо! Такое простое, понятное и полное любви. Какой прекрасный способ услышать сквозь дождь, листья и кожу любовь: узор, вышитый по сумятице чувств Божьих созданий, расцветающий с обжигающим чувством прикосновения. Я мог бы еще простоять там в изумлении, но я не хотел отставать от тебя, я должен был узнать, куда ты ведешь меня сквозь ливень. Но вернемся к поверхности океана. Неподалеку от Лестер-Сквер я преподавал английский как иностранный. Это было терпимо, но я никогда особо не ладил с другими учителями. Меня угнетала общая нехватка серьезности. Мне казалось, они обсуждали у меня за спиной мою набожность – в наши дни это немодно! Как только я вступил во владение домом и деньгами, я сразу же бросил работу и переехал. Я считал, что нахожусь как бы в убежище – и в ожидании. Я всегда отдавал себе отчет, что получил этот потрясающе красивый дом не просто так. За одну неделю жалкая однокомнатная

квартирка на Арнос-гроув сменилась замком в Хэмпстеде и небольшим банковским счетом. Во всем этом чувствовался промысел, и моя обязанность, как я думал (и время подтвердило мою правоту), заключается в том, чтобы быть готовым и внимать тишине. Я молился, медитировал, время от времени уходил пешком далеко за город и знал, что рано или поздно Его замысел станет мне известен. Я должен был идеально настроиться и приготовиться узнать первый же Его знак. Но несмотря на все приготовления, я пропустил его. Я должен был узнать его, когда там на холме наши глаза встретились. Но только вернувшись домой в тот вечер, вернувшись к здешней тишине и уединенности, я начал что-то осознавать и потому позвонил тебе... Но я повторяюсь.

Этот дом ждет тебя, Джо. Библиотека, бильярдная, гостиная с роскошным камином и огромными старыми диванами. У нас даже есть домашний кинотеатр (для видео, конечно), и гимнастический зал, и сауна. Но впереди, конечно, есть и препятствия. Горные гряды! Наивысшая из которых – твое отрицание Бога. Но я разгадал тебя, и ты это знаешь. Возможно, ты именно так все и спланировал. Игра, которую ты ведешь со мной, – наполовину совращение, наполовину испытание. Ты пытаешься нащупать границы моей веры. Тебя не ужасает, что я с такой легкостью разгадываю твои намерения? Надеюсь, это интригует тебя, как интригуют меня твои послания, которыми ты направляешь меня, шифры, которые ты записываешь прямо на моей душе. Я знаю, что ты придешь к Богу, знаю так же хорошо, как и то, что моя задача – привести тебя к Нему через любовь. Или, говоря другими словами, я должен устранить твой разлад с Господом посредством исцеляющей силы любви.

Джо, Джо, Джо... Признаюсь, я исписал твоим именем пять страниц. Можешь смеяться надо мной, только не слишком сильно. Можешь быть со мной жестоким, только не слишком усердствуй. За нашей игрой стоит цель, усомниться в которой не вправе ни ты, ни я. Все, что бы ни сделали мы вместе, чем бы мы ни стали, все в руках Господних, и наша любовь берет начало, форму и смысл в Его любви. Так много нужно сказать, обсудить такие тонкие подробности. А еще нам по-прежнему нужно решать вопрос с Клариссой. Думаю, правильнее всего будет, если ты возьмешь на себя руководство, а мне скажешь, как лучше действовать. А хочешь, я с ней поговорю? С удовольствием это сделаю. Я, конечно, имею в виду не с удовольствием, а с готовностью. Или лучше всем нам троим сесть вместе и хорошенько все обсудить? Я чувствую, что есть способы разрешить вопрос наименее болезненным для нее способом. Но это тебе решать, а я буду ждать, когда ты скажешь, как следует поступить. Вот пишу тебе, и будто ты рядом со мной, я мог бы коснуться тебя локтем. Дождь прекратился, птицы снова взялись за свои песни, а воздух стал прозрачнее. Заканчивая письмо, я словно расстаюсь с тобой. Не могу отделаться от ощущения, что каждый раз, прощаясь, я огорчаю тебя. Я никогда не забуду тех минут у подножия холма – и того, как ты отвернулся, отвергнутый, оглушенный моей неспособностью узнать нашу любовь с первого мгновения. Я никогда не перестану просить у тебя прощения. Джо, сможешь ли ты когда-нибудь простить меня?

Джед

Я еще не вполне перестал считать себя неудачником от науки, паразитом и маргиналом. Да я и не переставал никогда. Мое старое беспокойство вылезло наружу из-за падения Логана, или из-за всей этой ситуации с Перри, или из-за тонкой трещины отчуждения, пробежавшей между мной и Клариссой. Понятно, что сидение в кабинете и тягостные раздумья не могли приблизить меня ни к источнику моей тревоги, ни к решению. Лет двадцать назад я записался бы на прием к профессиональному слушателю, но где-то на моем пути вера в излечение разговорами потерялась. Своего рода благопристойное мошенничество. Теперь я предпочитал успокаиваться за рулем. Через пару дней после письма от Перри, точнее, его первого письма, я ехал на своей машине в

Оксфорд, чтобы увидаться с Джин, вдовой Джона Логана.

Неизвестно почему, шоссе в то утро было пустынно, залито ровным, прозрачным серым светом, и я уловил порыв свежего ветра. На высокой равнине, тянущейся до откоса, я почти вдвое превысил скорость. Весьма стремительное движение, необходимость постоянно посматривать в зеркало заднего вида (на случай полиции или Перри) и общая сосредоточенность успокаивали меня и дарили иллюзию очищения. Я спустился мимо мелового карьера пятью километрами севернее места происшествия, и Оксфордский дол предстал передо мной, как неизвестная страна. Еще двадцать пять километров ехал через гладкую зеленую дымку, на границе которой стоял большой викторианский дом, к печали которого я так стремился. Я сбросил скорость до семидесяти миль в час, чтобы выиграть дополнительное время для размышлений.

Поиск в базе данных по сочетанию «занавеска – сигнал» не дал результата. Я наугад открывал какие-то папки с вырезками, но, не зная толком, что делать, сдался через полчаса. Где-то я читал нечто про занавеску, использовавшуюся в качестве сигнала, и это как-то было связано с Перри. Я решил прекратить активные поиски в надежде, что более сильные ассоциации появятся, быть может, во сне.

Не слишком везло мне и с Клариссой. Правда, мы разговаривали, мы были любезны, даже занимались любовью, второпях, утром перед работой. За завтраком я прочел письмо от Перри, затем протянул ей. Она, кажется, согласилась со мной, что он псих и что я не зря чувствовал себя преследуемым. «Кажется», потому что она согласилась не от чистого сердца, хотя и сказала, что я прав, – а я считаю, она сказала, – все равно не призналась в своей ошибке. Я чувствовал, что ее мнение не изменилось, хотя Кларисса отрицала это, когда я спрашивал. Она читала письмо, чуть сдвинув брови, иногда прерывалась, чтобы взглянуть на меня или сказать:

– Его стиль вполне смахивает на твой.

Потом принялась расспрашивать, что именно я говорил Перри.

– Я велел ему отваливать, – ответил я, возможно, излишне запальчиво. Когда же она повторила вопрос, я взорвался: – Ты только посмотри на этот бред про послание через кустарник! Он же ненормальный, разве не ясно?

– Ясно, – тихо ответила она и снова углубилась в чтение.

Казалось, я понял, что ее задело. У Перри была ловкая техника построения намеков о каком-то прошлом, пакте, сговоре, тайных знаках, взглядах и жестах, а я отрицал все так, будто это являлось правдой. Почему я так горячился, если мне нечего скрывать? Дочитав до того места на предпоследней странице письма, где предлагалось «решать вопрос с

Клариссой», она остановилась и посмотрела, но не на меня, а в сторону, и медленно, глубоко вздохнула. Отложив страницу, она принялась массировать себе лоб. Нет, она не верит Перри, говорил я себе, просто его письмо так пышет самоуверенностью, он так правдоподобно описывает эмоции – как человек, безусловно их испытывавший, – что это автоматически вызывает определенный отклик. Иногда и скверное кино заставляет нас плакать. Внутренние эмоциональные реакции избежали цензуры разума и заставили нас играть устаревшие роли: я – возмущенный разоблачением тайной любви; Кларисса – женщина, жестоко преданная. Но когда я попытался озвучить это, она взглянула на меня и медленно покачала головой, пораженная моей глупостью. Быстро дочитав последние строчки письма, она резко встала.

– Куда ты? – спросил я.

– Мне надо собираться на работу.

Она быстро вышла из комнаты, и я понял, что нам не удалось прийти к общему выводу. Ведь должен был наступить момент единения, взаимного утешения, мы должны были стоять бок о бок или спина к спине, защищая друг друга от попытки вторжения в нашу частную жизнь. Но мы пропустили это вторжение. Я приготовился сказать об этом Клариссе, когда она вернулась, но она была весела и поцеловала меня. Мы обнимались на кухне целую минуту и обменивались нежностями. Мы снова были вместе, и мне не пришлось произносить заготовленную фразу. Потом она вырвалась, схватила куртку и убежала. Я подумал, что недосказанность все же осталась, хотя и неизвестно, о чем именно.

Я прибрался на кухне, вымыл тарелки, допил кофе и собрал страницы письма – маленькие голубые листочки, которые почему-то ассоциировались у меня с безграмотностью. Наша легкая жизнь, перетекавшая без усилий из года в год, неожиданно показалась мне сложной конструкцией, искусственно поддерживаемой в равновесии, как старинные часы с гирями. Мы теряли секрет балансировки или разучивались делать это без предельной концентрации. В последнее время в каждом разговоре с Клариссой я просчитывал возможные последствия своих высказываний. Может, у нее складывалось впечатление, что втайне мне льстит внимание Перри, или что я бессознательно его провоцирую, или что я, не отдавая себе отчета, наслаждаюсь своей властью над ним, или – может, она и это думала – своей властью над ней?

Самоосознание убивает радость секса. В кровати, полтора часа назад, мы были совершенно неубедительны, между нашими слизистыми оболочками будто насыпали пыли или сора или их невидимого

эквивалента, осязаемого не хуже речного песка. Сидя в кухне после ухода Клариссы, я представил себе мрачную цепочку, идущую от психики до соматики, – плохие мысли, слабая эрекция, недостаток смазки – и боль.

В чем заключались плохие мысли? Во-первых, подозрение, что в нашем царстве чувств, не поддающихся правилам логики, Кларисса сочтет ситуацию с Перри моим промахом. Он был фантомом, вызывать которого мог я один, неким духом, порожденным моей сдвинутостью и уязвимостью или, как она нежно это называла, моей наивностью. Я включил его в нашу жизнь, и я же удерживал его здесь, хоть и отказываясь от него.

Кларисса называла подобные размышления глупыми или смешными, но не проясняла свою позицию. Тем утром, после того как мы оделись, она заговорила обо мне.

– Я очень расстроилась, – сказала она.

Я надевал ботинки и не стал прерывать ее. Она сказала, что ей противно смотреть, как я опять ношусь со старой навязчивой идеей «вернуться в науку», когда у меня такая прекрасная работа, с которой я так замечательно справляюсь. Она пыталась помочь мне, но я за каких-то два дня стал таким нервным, одержимым всеми этими разговорами о Перри, таким... Она запнулась, подыскивая слово. Стоя в дверях, она расправляла на талии плиссированную юбку с шелковой подкладкой. Ее кожа, такая белая в утреннем свете, делала глаза особенно зелеными. Красивая и, казалось, недостижимая, что усилило выбранное ею слово:

– ... Таким одиноким, Джо. Ты одинок, даже когда пытаешься обсуждать это со мной. Я чувствую, как ты отгораживаешься от меня. Ты чего-то недоговариваешь. Ты неискренен со мной.

Я молча смотрел на нее. В такие моменты я всегда искренен с ней... либо всегда неискренен, ибо не понимаю, что это такое. Но я думал не об этом. Мысль, появившаяся в первые дни нашего знакомства, вернулась ко мне: как же удалось такому бесформенному среднестатистическому болвану, как я, заполучить эту бледную красавицу? И еще одна, плохая мысль: не начала ли она думать, что сделала плохой выбор?

Она уже собиралась пройти на кухню, где нас поджидало еще не прочитанное письмо от Перри. И неверно истолковала мой взгляд. Скорее умоляя, чем обвиняя, она произнесла:

– Вот ты глядишь на меня сейчас, а сам подсчитываешь что-то, о чем я никогда не узнаю. У тебя внутри какая-то двойная бухгалтерия, которая кажется тебе наилучшей разновидностью правды. Разве ты не видишь, что этим ты загоняешь себя в тупик?

Знаю, ее не убедило бы, скажи я: «Я думал только о том, какая ты

красивая и что я тебя не заслуживаю». Поднявшись, я отогнал от себя мысль, что, может быть, как раз она не заслуживает меня. Вот оно. Баланс, двойная бухгалтерия. Она была права, дважды права, потому что я так ничего и не сказал, а она так ничего и не узнала. Я улыбнулся и предложил:

– Давай обсудим все после завтрака.

Но обсуждать пришлось письмо от Перри, и это не пошло нам на пользу.

Когда она ушла, я, убрав со стола, снова сел на кухне с чашкой чуть теплого кофе и принялся засовывать листочки письма обратно, в тесный маленький конверт, будто спасая наш дом от вирусных спор. И снова плохие мысли: это действительно сон, но я должен его досмотреть. Мне пришло в голову, что Кларисса использовала Перри как предлог для нападения. Все-таки странно, странно она отреагировала. Она будто специально преувеличивает проблему, привязывая ко мне этого Перри. Как это объяснить? Не начала ли она жалеть, что живет со мной? Могла ли она кого-то встретить? Если она хочет порвать со мной, ей, конечно, проще убедить себя, что между мной и Перри что-то есть. Она с кем-то познакомилась? На работе? С коллегой? Со студентом? Не образцовый ли это пример скрытого самоубеждения?

Я поднялся на ноги. Самоубеждение – любимая концепция психологов-эволюционистов. В одной статье для одного австралийского журнала я и сам писал об этом. Чисто кабинетная наука, ее идея в следующем: живя в группе, как это обычно и происходит у людей, вы убеждаете остальных членов группы в своих интересах и потребностях, выстраивая таким образом фундамент своего благополучия. Иногда вы пускаетесь на хитрость. Очевидно, что вы будете наиболее убедительны, если сначала уговорите себя, и вам даже не придется изображать, как сильно вы верите в произносимое. Таким образом, склонные к самообману индивидуумы процветали, как и впоследствии их гены. Потому, когда мы ссоримся и пререкаемся, наш уникальный интеллект всегда готов предоставить особые способы защиты и избирательную слепоту по отношению к собственным недостаткам.

Выходя из кухни, я мог бы поклясться, что понятия не имею, куда иду. Около кабинета Клариссы решил, что иду туда забрать свой степлер. По дороге к ее письменному столу убедил себя, что необходимо проверить, не затерялось ли что-нибудь из моей утренней корреспонденции среди ее писем, как это уже случалось. Помогая себе миновать некий моральный барьер, я воспользовался тем самым самоубеждением, которое приписывал Клариссе.

Кларисса хотела, но так и не смогла сделать свой кабинет настоящим рабочим местом. У нее был офис в университете, где она занималась серьезными делами. Кабинет же служил перевалочным пунктом между работой и домом, там скапливались книги, бумаги и студенческие рефераты. Здесь располагалась «станция наблюдения» за крестниками. Ответы на их письма писались здесь, здесь упаковывались подарки, повсюду в беспорядке лежали их рисунки и сувениры. Она приходила сюда, чтобы заполнить счета или написать друзьям. У нее всегда можно было разжиться марками, качественными конвертами и художественными открытками с лучших прошлогодних выставок.

Стоя перед ее рабочим столом, я буквально заставил себя поискать степлер и обнаружить его под газетой. Найдя, даже удовлетворенно хмыкнул. Ощущал ли я за своей спиной чье-то присутствие, некое божественное око, которое рассчитывал убедить? Были эти действия лишь остатками – проникнувшими на генетический или социальный уровень – веры в бдительное божество? Весь мой спектакль, вместе с честностью, невинностью и уважением к себе, провалился в миг, когда я сунул степлер в карман, но не ушел, а продолжил изучение беспорядка на столе.

Я, конечно, не мог больше отрицать своего настоящего замысла. Убеждал себя, что мои действия продиктованы желанием распутать все узлы, пролить свет на ворох недосказанностей. Это мучительно, но необходимо. Я должен спасти Клариссу от нее самой, а себя от Перри. Должен обновить наши связи, нашу любовь, благодаря которой мы с Клариссой столько лет были счастливы. Если мои подозрения беспочвенны, для меня жизненно важно найти этому обоснование. Я открыл ящик, где она держала последнюю корреспонденцию. Проникал все глубже, и с каждым успешным движением все больше грубели мои чувства. С каждой секундой меня все меньше заботило, что я поступаю недостойно. Какая-то тугая заслонка, скорлупа, твердела во мне, защищая от уколов совести. Мои логические размышления кристаллизировались вокруг частной концепции справедливости: я имею право знать, что искажало реакцию Клариссы на Перри. Что мешало ей встать на мою сторону? Какой-то прыткий бородатый козел из аспирантов. Я откопал подозрительный конверт. Судя по штемпелю, получено три дня назад. Адрес написан мелкими, изящно разлетающимися буквами. Я вытащил письмо. От одного лишь приветствия мое сердце сжалось: «Дорогая Кларисса». Но это оказалось совсем не то. Старая школьная подруга делится семейными новостями. Я выбрал другое – ее крестный, знаменитый профессор Кейл, приглашает нас в ресторан в день ее рождения. Об этом я и так знал. Я

взглянул на третье письмо, от Люка, потом на четвертое, пятое, и их совокупная безупречность начала действовать мне на нервы. Я просмотрел еще три. Вот она, жизнь, словно говорили они, жизнь женщины, которую ты, как утверждаешь, любишь. Умной, деловой, сложной, благожелательной. Что ты здесь роешься? Хочешь отравить нас своим ядом? Убирайся! Я открыл было последнее письмо, но передумал. В своей омерзительности я дошел до того, что, выходя из комнаты, похлопал себя по карману, убеждаясь – или только делая вид, – что степлер на месте.

Я стоял в хвосте очереди на въезд в шумную заурядность Хедингтона. Двухэтажный автобус, не доехав до светофора, сломался как раз там, где дорога и так сужалась из-за ремонтных работ. Машинам приходилось ждать, чтобы по одной протиснуться мимо автобуса. Мой обыск стал памятной вехой в ухудшении наших отношений и вероломном успехе Перри. Кларисса, вернувшаяся с работы тем вечером, была мила и даже игрива, но я настолько стыдился самого себя, что не мог расслабиться. И смущался от этого еще больше. Теперь у меня действительно было что скрывать. Я пересек, и даже дважды, линию своей невинности. На следующее утро, в одиночестве сидя в кабинете, я распечатал письмо от своего профессора и обнаружил некую параллель: смерть невинной мечты, – я узнал, что о моем устройстве на факультет не может быть и речи. И дело было не только в несоблюдении формальностей и сокращающемся финансировании фундаментальных наук, мое предложение заняться виртуальным фотоном оказалось ненужным. «Уверяю вас, дело не в том, что все ответы уже найдены, просто за последние пять лет сами вопросы были радикально пересмотрены. Очевидно, эти новые определения прошли мимо вас. Мой вам совет, Джозеф, продолжайте заниматься делом, которое у вас так хорошо получается».

Я очутился в пустоте. Двадцать пять минут я торчал на Хедингтон-Хайстрит, ожидая своей очереди объехать автобус, и глядел, как люди входят и выходят из банка, аптеки и видеомагазина. Через пятнадцать минут я буду стоять у дома миссис Логан, понятия не имея, что собираюсь ей сказать. Мотивы этого визита больше не казались мне очевидными. Изначально я собирался рассказывать о героизме ее мужа, на случай, если этого еще никто не сделал, но с тех пор об этом происшествии уже написали в газетах. Когда я разговаривал с ней по телефону, она была спокойна и сказала, что будет рада моему приезду. Это показалось мне достаточным основанием. Пусть все идет как идет, решил я. Но сейчас, почти доехав, я уже не был так уверен. Тем утром меня в первую очередь обрадовала сама перспектива уехать из дома, прокатиться на машине,

выехать из этого города. Теперь радость как-то потускнела. Я ехал на встречу с настоящей скорбью и чувствовал себя неловко.

Их дом на две семьи, утопающий в свежей зелени, располагался в самом сердце садовых пригородов северного Оксфорда. Я придумал теорию, что однажды мы увидим свежим взглядом откровенное уродство отечественной викторианской архитектуры, но это случится не раньше, чем мы сможем определить, как же в наше время должен выглядеть хорошо спроектированный дом. А пока не придумано ничего лучшего, нам сгодятся и викторианские дома. Вероятно, пока я вылезал из машины, кровоснабжение моего мозга несколько ослабло, и от этого мысли повернули в другую сторону. Я себе не доверяю, пришло мне в голову. Не доверяю с тех пор, как вторгся на территорию Клариссы. Я остановился у ворот. К входной двери вела дорожка из кирпича, по бокам заросшая одуванчиками и колокольчиками. Слишком легко предположить, что печаль окутывает дом только лишь в моем воображении, и я заставил себя отыскать ее настоящие приметы: неухоженный сад, опущенные в двух окнах верхнего этажа шторы и осколки под крыльцом, вероятно от молочной бутылки. Я себе не доверяю. Нажимая на звонок, я снова думал о степлере и о том, как подло мы подтасовываем факты ради собственной выгоды. Из дома донеслись какие-то звуки. Я приехал не для того, чтобы рассказывать миссис Логан о храбрости ее мужа, я приехал, чтобы оправдаться, чтобы доказать свою непричастность, невиновность в его смерти.

Похоже, женщина, открывшая дверь, не ожидала увидеть меня, и пару мгновений мы смотрели друг на друга, пока я торопливо не напомнил ей о нашей договоренности. На меня глядели маленькие сухие глаза, не покрасневшие от слез, но ввалившиеся и навеки усталые. Ее взгляд был устремлен куда-то вдаль, за ее собственный горизонт, как у одинокого полярника в Арктике. Она донесла до двери теплый, какой-то домашний запах, и мне подумалось, что она спала в одежде. На ее шее висела длинная нитка янтаря неправильной формы, в которой она неловко запуталась левой рукой. В течение всего моего визита она постоянно теребила и вертела между большим и указательным пальцами самый маленький янтарик. Выслушав мое объяснение, она произнесла: «Конечно, конечно», героически оживилась и открыла дверь пошире.

Этот тип оксфордских интерьеров знаком мне еще с тех времен, когда я навещал здесь разных профессоров. Теперь, когда в поселке тратятся не академические деньги, подобные дома стали исчезающим видом. Последний раз здесь что-то переделывалось в пятидесятых или шестидесятых годах. Появились новые книги, кое-что из мебели – и с тех пор никаких перемен. Из цветов только бежевый и коричневый. Никаких признаков дизайна, стиля или уюта, а зимой к тому же и холодно. Даже свет был каким-то коричневатым, неотделимым от запахов сырости, угольной пыли и мыла. В спальнях, скорее всего, не было отопления, и мне показалось, что в доме всего один телефонный аппарат, с диском, стоящий в холле далеко от любого из стульев. На полу был линолеум, на стенах тусклые лампы дневного света. С кухни кисловато пахло газом, а на рассыхающихся полках с металлическими креплениями поблескивали бутылки с красными и коричневыми соусами. Этот аскетизм, некогда признанный соответствующим жизни интеллектуала, восходил к основе английского прагматизма, не знающего суеты, отполированного до совершенства, а также к миру академизма, находящегося выше торговли. В свое время этот стиль, должно быть, прозвучал как пощечина эдвардианской пышности старших поколений. А теперь это наилучшее место для тоски.

Джин Логан провела меня в тесную заднюю комнатку, где стеклянные двери выходили в огромный, обнесенный стеной сад, полный цветущих вишен. Она чопорно нагнулась поднять одеяло, лежавшее – на полу, возле

двухместного диванчика, подушки и покрывала которого были перепутаны и смяты; прижимая одеяло к животу, она предложила мне чаю. Когда я позвонил в дверь, она спала, решил я, или просто лежала, укрывшись. Я предложил помочь на кухне, но она нервно засмеялась и велела мне присесть.

Воздух был настолько спертый, что дыхание требовало осознанных усилий. Газ в камине горел желтоватым пламенем, возможно выделяя угар. Да еще эта вековая тоска. Пока Джин Логан не было в комнате, я попытался уменьшить огонь, но тщетно, и тогда приоткрыл на пару сантиметров дверь в сад, расправил занавески и сел обратно.

Ничто здесь не указывало на наличие в доме детей. Втиснутое в альков, придавленное тяжестью книг, стопок журналов и академических изданий, стояло пианино. Из его канделябров торчали засохшие прутьики, очевидно с прошлогодними еще почками. Книги, лежавшие по обеим сторонам камина, были стандартными изданиями избранных произведений Гиббона, Маколея, Карлейля, Тревельяна и Рёскина. У одной стены стояло черное кожаное кресло с прорехой в боку, заткнутой пожелтевшими газетами. Выцветшие и истончившиеся ковровые дорожки покрывали полы. Два стула, как мне показалось, годов сороковых, с высокими деревянными подлокотниками и низкими квадратными сиденьями, стояли у ядовитого огня, напротив дивана. Джин или Джон. Логаны наверняка унаследовали дом от родителей в этом самом виде. Я задумался, может печальный дух витал здесь и до смерти Джона Логана?

Джин принесла чай в больших кружках. Я уже приготовил краткую вступительную речь, но она заговорила сама, едва присев на край неудобного низкого стула:

– Я не знаю, зачем вы приехали. Надеюсь, не для того, чтобы удовлетворить любопытство. Мы незнакомы, и я не хотела бы выслушивать ваши соболезнования, утешения и что там еще полагается. Будьте так любезны. – Скрываемые эмоции выразились еще ярче из-за отрывистых, сказанных с передышками фраз. Она попыталась сгладить впечатление слабой улыбкой и добавила: – Хотелось бы уберечь вас от неловкости.

Я кивнул и сосредоточенно сделал глоток обжигающего чая из своего фарфорового ведерка. Для нее, замкнутой в своем горе, подобный официальный визит, должно быть, сродни вождению в нетрезвом состоянии – с трудом рассчитываешь нужную скорость беседы, зато с отчаянной легкостью заруливаешь прямо в кювет.

Трудно представить ее без этого горя. Коричневое пятно на светло-голубом кашемировом свитере, чуть ниже правой груди, говорит лишь о

горестной неухоженности? Довольно грязные волосы туго стянуты в торчащий пучок красной резинкой. Это лишь скорбь или обычный академический стиль? Из газет я узнал, что она преподает историю в университете. Не зная о ней ничего, по ее лицу можно было бы предположить, что у нее тяжелая простуда при малоподвижном образе жизни. Нос острый, с порозовевшими ноздрями и кончиком – от прикосновений влажных салфеток (пустую упаковку я заметил на полу у своих ног). Но лицо тем не менее привлекательное, почти красивое, практически правильные черты, никаких излишеств, длинный бледный овал, тонкие губы и почти бесцветные брови и ресницы. Скромный песчаный оттенок глаз. Она производила впечатление человека подчеркнуто независимого и легко выходящего из себя.

– Не знаю, – сказал я, – приходил ли кто-нибудь из тех, кто там был, навестить вас. Полагаю, что нет. Я знаю, вам не нужны мои рассказы о смелости вашего мужа, но, может быть, вам интересны какие-то подробности произошедшего. Судебное заседание состоится не раньше чем через шесть недель...

Я прикусил язык, недоумевая, с чего вдруг я помянул судебное заседание. Джин Логан так и сидела на краешке стула, склонившись над кружкой, подставив лицо теплomu пару, может быть, чтобы увлажнить веки. Она произнесла:

– Вы думали, мне будет интересно узнать в подробностях, как именно он расстался с жизнью?

Не ожидая такой желчности, я посмотрел ей в глаза.

– Но может быть, вам все-таки что-нибудь интересно? – спросил я помедленнее. Легче чувствовать враждебность, чем собственное смущение от ее горя...

– Кое-что я хотела бы узнать, – произнесла Джин Логан, и в ее голосе неожиданно прозвучал гнев. – У меня много вопросов к самым разным людям. Но я не думаю, что они захотят мне ответить. Они делают вид, что даже не понимают, о чем идет речь. – Она замолчала и с трудом сглотнула. Я слушал голос, не умолкающий в ее голове, я читал мысли, терзавшие ее всю ночь. Сарказм был слишком театральным, слишком активным, в нем была вся тяжесть опустошающих повторений. – Конечно, я сумасшедшая. Я неадекватна, я всем мешаю. Зачем отвечать на мои неудобные вопросы, если они не вписываются в общую картину. Что вы, что вы, миссис Логан! Не волнуйтесь по пустякам, они не должны вас касаться, они не имеют значения. Мы понимаем, что это ваш муж, отец ваших детей, но мы при исполнении, и, пожалуйста, не мешайте работать...

Слова «отец» и «дети» лишили ее самообладания. Поставив кружку, она выдернула из рукава скомканную салфетку и, прижимая, принялась тереть ею между глаз. Она попыталась встать, но низкий стул помешал ей. На меня навалилась пустая, отупляющая бесчувственность, возникающая, когда кто-то в комнате занимает все эмоциональное поле. Мне оставалось только пережить. Я подумал, что она, видимо, из тех женщин, которые терпеть не могут, когда кто-то видит их слезы. Но за последнее время ей пришлось к этому привыкнуть. Я смотрел мимо нее, в сад, за вишневые деревья, и обнаружил первое напоминание о детях. Частично скрытая кустарником, на лужайке стояла коричневая палатка-иглу. С одной стороны подпорки упали, и палатка заваливалась на цветочную клумбу. Выглядела она отсыревшей и заброшенной. Он ли поставил ее для детей незадолго до смерти, или они воздвигли ее сами, чтобы установить контакт с живущим на природе подтянутым призраком, который покинул дом? Может, им надо было где-то посидеть за пределами сумеречной материнской боли.

Джин Логан умолкла. Стиснув руки, она глядела в пол, ей явно хотелось остаться одной. Кожа между носом и тонкой верхней губой покраснела. Мое отупение прошло, когда я просто понял вдруг, что все увиденное означает любовь и медленную агонию из-за ее гибели. Представив, что значило бы для меня потерять Клариссу, по своей ли тупости или если бы ее отняла смерть, я ощутил горячее покалывание по всей спине и понял, что задыхаюсь без свежего воздуха в этой маленькой комнате. Мне надо было срочно возвращаться в Лондон и спасать нашу любовь. У меня не было плана действий, но я был бы счастлив подняться и с извинениями удалиться. Джин Логан подняла голову и сказала:

– Простите. Спасибо, что приехали. С вашей стороны было очень любезно проделать такой путь.

Я сказал что-то сообразно вежливое. Мускулы моих ног и рук были напряжены, как будто были готовы вытолкнуть меня из кресла обратно на Мейда-Вейл. Впечатление от скорби Джин разложило мою собственную ситуацию на простейшие элементы, в периодическую таблицу простых чувств: когда любовь уйдет, ты поймешь, какой это чудесный дар. Ты будешь так же страдать. Так что возвращайся и сражайся, чтобы сохранить ее. Все остальное, включая Перри, не в счет.

– Знаете, кое-что я хочу узнать...

Мы слышали, как открылась и закрылась входная дверь, потом шаги в холле, но никаких голосов. Она замерла, будто ожидая оклика. Потом шаги – похоже, два человека – замерли наверху, и она расслабилась. Я не мог ее оставить, ведь она собиралась сказать или спросить меня о чем-то

важном. Но и расслабить ноги я тоже не мог. Мне хотелось предложить ей поговорить в саду, среди цветов, на свежем воздухе.

Она сказала:

– С моим мужем кто-то был. Вы заметили?

Я покачал головой.

– Там была моя Кларисса, двое рабочих с фермы, парень по имени...

– Я знаю. Но кто-то был в машине с Джоном, когда он приехал. Кто-то вышел из машины вместе с ним.

– Он бежал с другой стороны поля. Я не видел его, пока мы не побежали к шару. И там никого больше не было, я уверен.

Джин Логан не была удовлетворена:

– Вам было видно его машину?

– Да.

– И вы не заметили никого, кто стоял бы за ней и наблюдал?

– Если бы кто-нибудь был, я бы его запомнил.

Она отвела взгляд. Она рассчитывала на другие ответы. Ее голос был как у терпеливой учительницы. Я не возражал, я искренне хотел помочь.

– Вы помните открытую дверцу машины?

– Да.

– Одну дверцу или две?

Я колебался. На вызванной из памяти картинке открытыми были обе дверцы, но я не был уверен и не хотел направлять ее по ложному пути. На кону что-то стояло, возможно, лишь сильная фантазия. Я не хотел ее подпитывать. Но в конце концов произнес:

– Две. Точно не уверен, но вроде две.

– Так зачем, по-вашему, ему было открывать обе дверцы, если он был один?

Я пожал плечами и стал ждать объяснений. Янтарь в ее пальцах завертелся еще быстрее. Печаль сменилась болезненным возбуждением.

Даже мне, не знающему в чем тут дело, было понятно, что доказательства причинят ей новые страдания. Ей придется услышать что-то, о чем она не хотела бы знать. Но пока она задавала неприятные вопросы тоном энергичного адвоката. В какой-то момент я начал заменять собой объект ее нападок.

– Вот вы мне скажите, в каком направлении отсюда Лондон?

– На востоке.

– А Чилтернз?

– На востоке.

Она взглянула на меня, будто основное доказательство было получено.

У меня по-прежнему был озадаченный и услужливый вид. Ей приходилось за руку тянуть меня к самоочевидному источнику своих страданий. Она так долго прокручивала все это у себя в голове, что с трудом сдержала раздражение в голосе, когда пришлось спросить:

– Как далеко отсюда до Лондона?

– Двадцать пять миль.

– А до Чилтернза?

– Около двадцати.

– Из Оксфорда в Лондон вы поехали бы через Чилтернз?

– Что ж, шоссе как раз проходит в той стороне.

– А поехали бы вы в Лондон через Уотлингтон по всем этим мелким проселочным дорогам?

– Нет.

Джин Логан глядела под ноги на вытертый персидский ковер, погруженная в свои мысли, в горе, от которого она никогда не освободится из-за невозможности объясниться с мужем. Прошло минуты две-три, и я спросил:

– Предполагалось, что он проведет этот день в Лондоне?

Она крепко зажмурилась и кивнула.

– На конференции, – прошептала она. – На медицинской конференции.

Я осторожно откашлялся.

– Возможно, существует какое-то вполне невинное объяснение.

Глаза ее были по-прежнему закрыты, а голос звучал глухо и монотонно, как будто ее загипнотизировали, заставляя вспомнить нечто ужасное.

– Машину доставил сержант из местного отделения. Ее привезли на аварийном грузовике, потому что не смогли найти ключей. Они остались где-то в машине или у Джона в кармане. Поэтому мне пришлось заглянуть внутрь. И тогда я спросила у сержанта, обыскивали ли они машину. Искали ли отпечатки пальцев? Они сказали, что нечего тут искать. И знаете почему? Потому что речь не идет о преступлении...

Она открыла глаза, чтобы убедиться, что я осознал всю важность, все последствия подобного легкомыслия. Но я пока еще ничего не осознал. Я раскрыл рот, чтобы повторить последнее слово, но она опередила меня и громко повторила:

– О преступлении! Речь не идет о преступлении! – Внезапно она поднялась на ноги и принесла из другого угла, где в половину человеческого роста были навалены книги, объемистый пластиковый пакет. Она протянула его мне. – Вот, взгляните. Взгляните. И скажите мне, что это

значит.

Это была увесистая белая сумка, на яркой картинке изображены танцующие вокруг названия супермаркета дети.

Содержимое сумки тяжело барахталось на дне. Взяв ее в руки, я сразу почувствовал идущий оттуда запах, знакомый резкий душок гниющего мяса.

– Загляните. Не бойтесь.

Вдохнув поглубже и раскрыв пакет, в первую секунду я не смог даже разобрать, что в нем. Какая-то серая паста в измятой пластиковой упаковке, нечто круглое, завернутое в цветную фольгу, непонятная коричневая масса на квадратной картонке. И тут я заметил что-то темно-красное, блеснувшее сквозь стекло, наполовину скрытое бумагой. Бутылка вина, поэтому сумка была такой тяжелой. Для всего остального сразу нашлись объяснения. Еще я увидел два яблока.

– Припасы для пикника, – сказал я. Подступившая к горлу тошнота объяснялась не только запахом.

– Я нашла это на полу рядом с пассажирским сиденьем. Они вместе с ней собирались устроить пикник. Где-нибудь в лесу.

– С ней?

Я почувствовал, что веду себя излишне педантично, но мне казалось, я должен как можно дольше противостоять гипнотизирующей силе ее фантазии. Она достала что-то из кармана юбки. Потом отодвинула от меня пакет и вложила мне в руку небольшой шелковый шарфик со стилизованным под шкуру зебры серо-черным рисунком.

– Понюхайте, – приказала она и аккуратно поставила пакет в угол.

Пахло чем-то соленым – слезами, соплями или вспотевшей от напряжения ладонью Джин.

– Вдохните поглубже, – посоветовала она. Она стояла надо мной, суровая и жестокая, безумно желающая превратить меня в свидетеля.

Я снова поднес к лицу шелковый клочок и понюхал.

– Извините, – сказал я, – по-моему, ничем особенным не пахнет.

– Розовая вода. Разве вы не чувствуете?

Она забрала у меня платок. Отныне я не заслуживал права держать его в руках. Она произнесла:

– Я ни разу в жизни не душилась розовой водой. Это лежало на пассажирском сиденье. – Она села, казалось, ожидая моих оправданий. Чувствовала ли она, что я, как мужчина, причастен к греху ее мужа, что я то самое доверенное лицо, для которого пришло время явки с повинной? Когда молчание затянулось, она сказала: – Послушайте, если вы что-то

видели, не думайте, ради бога, что вы должны оберегать меня. Я должна это знать.

– Миссис Логан, я не видел никого рядом с вашим мужем.

– Я просила их поискать в машине отпечатки пальцев. Тогда я могла бы разыскать эту женщину...

– Только если она уже задерживалась полицией.

Она не слушала меня.

– Мне необходимо знать, как долго это продолжалось и что это было. Вы ведь понимаете меня?

Я кивнул и, кажется, даже понимал. Она хотела измерить свою потерю, хотела знать, что оплакивать. Должна была узнать и выстрадать все до конца, прежде чем в ее душе наступит хоть какой-то мир. Иначе – мучительное неведение, бесконечные подозрения, черные догадки и мысли о самом худшем.

– Мне очень жаль, – начал было я, но она меня перебила:

– Я просто должна ее найти. Должна с ней поговорить. Может быть, она все видела. А потом убежала, испугалась, потеряла рассудок. Кто знает?

Я сказал:

– Думаю, высока вероятность того, что она свяжется с вами. Она не сможет удержаться, чтобы не прийти на вас поглядеть.

– Если только она приблизится к этому дому, – просто сказала Джин Логан, не замечая двух вошедших в комнату детей, – я убью ее. Пусть мне будет хуже, но я это сделаю.

Всякий раз, когда Кларисса говорит, что я был бы прекрасным отцом, в ее голосе звучит печаль. Она утверждает, что я отлично общаюсь с детьми, держусь с ними на равных, без снисходительного тона. Мне никогда не приходилось присматривать за детьми достаточно долго, я не проходил настоящего испытания на родительское самоотречение, но думаю, что говорить и слушать я умею неплохо. Я хорошо знаю всех семерых крестников Клариссы. Мы брали их на выходные, кого-то возили на каникулы за границу, а как-то целую неделю преданно заботились о двух маленьких девочках – Фелисити и Грейс, пока их родители терзали друг друга на бракоразводном процессе. Однажды я помог самому старшему крестному сыну Клариссы, пятнадцатилетнему подростку, одурманенному поп-культурой и дебильным кодексом уличной чести. Посидев с ним в баре, я отговорил его бросать школу. Четырьмя годами позже он уже изучал медицину в Эдинбурге и неплохо справлялся.

Однако, встречаясь с детьми, я испытывал неловкость. Смотря на себя глазами этого ребенка, я вспоминал свое детское отношение к взрослым. Все они казались мне мрачными существами, которые с удовольствием говорят ни о чем и привыкли не видеть в будущем ничего хорошего. Мои родители, их друзья, мои тети и дяди, все они подстраивали свою жизнь под приоритеты других, далеких и более важных людей. Для ребенка, понятное дело, это определялось обстоятельствами. Позднее я обнаружил, что среди взрослых встречаются достойные и яркие личности, а еще позже – что эти качества, по крайней мере первое из них, присутствуют и в моих родителях, и в большинстве людей их круга. Но тогда, будучи энергичным десятилетним мальчишкой с большим самомнением, оказавшись в комнате, полной взрослых, я чувствовал себя виноватым и считал необходимым из вежливости скрывать, что во всех остальных местах мне постоянно весело. Когда кто-нибудь из пожилых гостей – все они казались мне пожилыми – заговаривал со мной, я боялся, что на моем лице отчетливо проступает жалость.

Поэтому, повернувшись на стуле, чтобы встретиться взглядом с детьми Джона Логана, я видел, как трансформируюсь в их глазах, превращаясь в очередного унылого незнакомца. Одного из тех, что в последнее время чередой проходят сквозь их дом, здорового мужчину в мятом синем костюме, с круглой лысиной на макушке, которую им прекрасно видно.

Явился сюда с непонятной и неважной целью. И кроме того, это еще один мужчина, который не их папа. Девочке было около десяти, мальчику года на два меньше. За ними, почти что за пределами комнаты, стояла их няня, дружелюбного вида молодая женщина в спортивном костюме. Я разглядывал детей, а они – меня, пока их мать грозила смертью. На обоих детях были джинсы, кроссовки и джемперы с героями диснеевских мультфильмов. Была в них какая-то трогательная неряшливость, но не подавленность.

Не отводя от меня глаз, мальчик произнес:

– Убивать людей очень плохо.

Его сестра вежливо улыбнулась, и, поскольку Джин Логан давала няне какие-то распоряжения, я сказал малышу:

– Так только говорится. Так говоришь, когда кого-то очень сильно не любишь.

– Если плохо так делать, – возразил мальчик, – значит плохо и говорить, что собираешься это сделать.

Я спросил:

– А ты слышал, как кто-нибудь говорит: «Я такой голодный, что мог бы съесть лошадь»?

Он честно обдумал мой вопрос и признался:

– Я так говорил.

– Разве хорошо есть лошадей?

– В нашей стране нехорошо, – сказала девочка. – А во Франции хорошо. Они их там каждый день едят.

– Это верно, – согласился я. – Но если уж что-нибудь по-настоящему нехорошо, я не понимаю, почему, переплыв через канал, мы должны считать это нормальным.

Стоя по-прежнему плечом к плечу, дети придвинулись ближе. После произошедшего здесь до этого дискуссия об относительности морали была чистым наслаждением.

Девочка сказала:

– В разных странах у людей разные понятия. В Китае отрывка после еды считается проявлением вежливости.

– Это правда, – сказал я. – Когда я был в Марокко, меня предупредили, чтобы я ни в коем случае не похлопывал детей по голове.

– Ненавижу людей, которые делают это, – выпалила девочка, а ее брат, возбужденно перебив, заявил:

– Мой папа видел, как в Индии отрезали голову козе.

– И это были священники, – подчеркнула девочка. Упоминание об отце

не вызвало никаких особых изменений, никаких сожалений. Он все еще был жив.

– Так что же, – спросил я, – разве не существует правил, с которыми считались бы люди во всем мире?

– Убивать людей нехорошо! – торжествующе воскликнул мальчик.

Я взглянул на девочку, она кивнула, и мы вместе повернулись на звук закрывающейся двери и увидели, что их мать только что завершила разговор с няней.

– Это Рейчел и Лео. А это мистер...

– Джо, – сказал я.

Лео взобрался к матери на колени. Она крепко обняла его. Рейчел подошла к окну и выглянула в сад.

– Наша палатка, – тихо сказала она самой себе.

– Я должна ее найти. – Джин Логан подвела итог, словно на деловой встрече. – Плохо, что вы ее не видели. Но, возможно, вы все же сможете помочь мне. От полиции никакого толку. Кто-нибудь из остальных мог что-то видеть. Сама я не могу встретиться с ними, но если бы вы согласились...

– О чем это ты говоришь, мама? – Рейчел повернулась от окна. В ее неуверенном вопросе я почувствовал тревогу и беспокойство за мать, а вместе с тем и тяжесть свалившегося на нее испытания. Очевидно, она боялась повторения каких-то уже виденных сцен и стремилась их предотвратить.

– Ни о чем, дорогая. Все это тебе неинтересно.

Я мучительно искал предлог для отказа, но не находил. Неужели жизнь моя настолько зависит от одержимости других людей?

– Я знаю телефоны работников с фермы, – сказала она. – Номер молодого человека можно разыскать без проблем. У меня есть его адрес. Его фамилия Перри. Три телефонных звонка – все, о чем я прошу.

Отказаться было неудобно.

– Ладно, – сказал я. – Я займусь этим.

Соглашаясь, я подумал, что смогу корректировать информацию, возможно, избавляя тем самым их семью от новых неприятностей. Согласились ли бы со мной Лео и Рейчел, что в некоторых обстоятельствах лучше соврать? Мальчик соскользнул с материнских колен и подошел к сестре. Джин Логан поблагодарила меня улыбкой, одернула юбку и слегка разгладила ее ладонями – жест, означающий, что теперь она позволяет мне уйти.

– Я напишу вам их номера.

Я кивнул и произнес:

– Послушайте, миссис Логан, ваш муж был чрезвычайно ответственным и смелым человеком. Вы не должны об этом забывать. – Рейчел и Лео дурачились возле окна, и мне пришлось заговорить громче. – Он принял на себя ответственность за спасение ребенка и держался до самого конца. Высоковольтные провода представляли реальную опасность. Мальчик запросто мог погибнуть. Ваш муж просто не смог отпустить веревку, и всем остальным стыдно из-за этого.

– Зато все остальные живы, – проговорила она, потом замолчала и нахмурилась, потому что Лео пронзительно завизжал под длинной шторой. Сестра щекотала его через ткань. Мать хотела было прикрикнуть на них, но передумала. Так же как и я, она лишь заговорила громче. – Не думайте, что я не размышляю об этом. Джон был альпинистом, спелеологом и хорошим моряком. Но он был еще и доктором. Он работал спасателем и был очень и очень осторожным человеком. – На каждом «очень» она крепче стискивала пальцы в кулак. – Он никогда не рассчитывал на случай. Друзья в горах часто подшучивали над ним из-за того, что он просчитывал все варианты, все возможные опасности, которые никому, кроме него, не приходили в голову, – внезапное изменение погоды или неустойчивая скала. В группе он был пессимистом. Кто-то даже считал его занудой. Но ему было наплевать. Он никогда не рисковал понапрасну. Когда родилась Рейчел, он вообще прекратил серьезные восхождения. Именно поэтому произошедшее кажется полнейшей бессмыслицей. – Наполовину повернувшись, она собралась было усмирить детей, расшумевшихся пуще прежнего, но ей хотелось договорить, а сделать это под детские выкрики было даже проще. Она развернулась ко мне. – Вся эта болтовня вокруг висения на веревке... Понимаете, я все обдумала, и я знаю, что его убило...

Наконец-то мы добрались до самого главного. Сейчас на меня обрушатся обвинения, я должен опередить ее. Мне хотелось сначала изложить свою версию. Я увидел перед собой, словно знак одобрения, образ чего-то или кого-то, падающего вниз за мгновение до того, как я выпустил веревку. Но я прекрасно помнил и поучительный афоризм времен моей работы в лаборатории: кто свято верит – ясно видит.

– Не знаю, миссис Логан, – сказал я, – может, вы уже слышали эту историю от остальных, но я честно вам скажу...

Она замотала головой и перебила меня:

– Нет, нет. Выслушайте меня. Вы были там, но я знаю лучше вашего. С Джоном все не так просто. Он всегда хотел быть лучшим, но в какой-то момент уже перестал быть спортсменом-универсалом. Ему было сорок два. Он переживал. Не хотел с этим мириться. А когда у мужчины появляется

такое ощущение... Я ничего не знала об этой женщине. Ничего не подозревала, мне и в голову не приходило.

До сих пор не знаю, первая ли она у него. Но вот что я знаю наверняка. Она смотрела на него, и он знал, что она смотрит, и он должен был показать ей, покрасоваться перед ней. Он должен был ринуться в гущу событий, первым схватиться за веревку и последним выпустить ее, вместо того чтобы поступить как обычно – отойти в сторону и прикинуть, как будет лучше. Вот как он поступил бы, не будь ее рядом, вот что ужасно. Он рисовался перед девицей, мистер Роуз, а теперь мы все из-за этого страдаем.

Это была лишь теория, подобный сюжет мог возникнуть только под влиянием скорби и болезненного помешательства.

– Вы не можете знать этого наверняка, – возразил я. – Все так разрозненно, так сложно. Это всего лишь гипотеза. Вы не должны позволять себе верить.

Она с сожалением на меня взглянула и отвернулась к детям.

– Дети, очень шумно. Мы не слышим друг друга, – нетерпеливо произнесла она.

Лео завернулся в занавеску, так что видны были одни ноги. Рейчел скакала вокруг, что-то распевала и толкала его, добиваясь ответного пения. Когда мать принялась выпутывать мальчика, Рейчел отошла в сторону. Джин Логан не ругалась, скорее, мягко увещевала.

– Ты хочешь снова уронить карниз? Мы вчера это обсуждали, и что ты мне обещал?

Появился Лео, раскрасневшийся и счастливый. Он переглянулся с сестрой, и она захихикала. Тут Лео вспомнил обо мне и решил достойно объясниться с матерью, чем неожиданно мне помог.

– Это ведь наш дворец, я здесь король, а она – королева. Я могу выйти, только если она подаст мне сигнал.

Лео сказал и еще что-то, а мать еще вяло его пожурела, но я уже ничего не слышал. Словно в тончайшем кружеве, сама собой затянулась прореха в хитросплетениях нитей. Внезапно я все вспомнил, и казалось невероятным, что я вообще мог об этом забыть. Дворец – это Букингемский дворец, король – это Георг Пятый, женщина неподалеку от дворца – француженка, а происходило все сразу после Первой мировой. Несколько раз, пользуясь случаем, эта женщина приезжала в Англию с одной-единственной целью – постоять у дворцовых ворот в надежде получить знак от короля, в которого она была влюблена. Она никогда не видела его и так и не увидела, но просыпалась с мыслью о нем.

Я уже стоял, когда Рейчел что-то мне сказала. Я ничего не понял, но на всякий случай кивнул.

Та женщина была убеждена, что весь лондонский свет только и обсуждает ее связь с королем, а сам король глубоко этим обеспокоен. В один из приездов она не смогла найти свободного номера в гостинице и решила, что король употребил все свое влияние, чтобы помешать ей остаться в городе. Одно она знала наверняка: король ее любит. И она любила его в ответ, но как-то сильно обидела. Он отвернулся от нее, но все же не переставал давать ей надежду. Он подавал знаки, понятные лишь ей, чтобы она знала: как бы постыдно, неловко и недопустимо это ни было, он любит ее и будет любить всегда. Он общался с ней, используя занавески на окнах Букингемского дворца. Так она и жила в тюремном мраке своих заблуждений. Безнадежная любовь, отравившая ее существование, получила название по имени лечившего ее французского психиатра де Клерамбо^[12].

Заметив, что я поднялся, Джин Логан решила, что я уже ухожу. Она подошла к столу и написала на листке несколько фамилий и телефонов.

Дети вернулись к окну, и Рейчел сказала:

- Я вспомнила еще одну штуку.
- Да ну? – Я с трудом сосредоточился на ней.
- Учительница рассказывала, что во многих странах нет носовых платков и поэтому там все сморкаются вот так.

Она зажала нос большим и указательным пальцами, остальные пальцы растопырила и громко фыркнула в мою сторону. Ее брат издал вопль ликования.

Я взял у Джин Логан сложенный листок с телефонами, мы все вместе вышли из комнаты, пересекли коричневый холл и остановились у входной двери. Не доходя до двери, я уже мысленно вернулся к де Клерамбо. К синдрому де Клерамбо. Как фанфары, как чистый звук трубы, это имя напомнило мне о моей собственной одержимости. Меня ждало исследование, и я прекрасно знал, с чего начать. Синдром задавал границы поиска, и это обещало какое-то успокоение. Я был почти счастлив, когда она открыла входную дверь и мы вчетвером столпились на кирпичной дорожке, чтобы попрощаться. Я чувствовал себя так, будто мой старый профессор наконец предложил мне работу на кафедре.

Джин Логан поблагодарила меня за приезд, я пообещал связаться с ней, как только всех обзвоню. Теперь, когда я уезжал, дети держались в стороне. Я снова стал для них незнакомцем. Зажав пальцами нос, я выдал более пристойную версию произведенного Рейчел звука. Они простили меня, натянуто улыбнувшись. Я заставил их пожать мне руку. Удаляясь по тропинке от дома, я не мог отделаться от ощущения, что мой уход напомнил им об отсутствии отца. Семья собралась у двери, мать обнимала детей за плечи. Я дошел до машины, открыл дверцу и обернулся, чтобы помахать им в последний раз, но все трое уже скрылись в доме.

По дороге домой я свернул с шоссе на юг к Чилтернзу и подъехал к полю. Я остановился на том самом месте, где на заросшей травой обочине находилась машина Логана. Стоя у пассажирского места, она должна была прекрасно видеть все происходящее – от приземлившегося шара и волочащейся по земле корзины до борьбы с веревками и падения. Она должна была видеть место, где он упал. Я представил ее: хорошенькая, двадцати с небольшим лет, обезумевшая от ужаса, она бежит по дороге к ближайшей деревне. Или, может быть, она побежала в другую сторону, вниз по холму к Уотлингтону. Стоя здесь, на ее месте, я воображал себе тайные звонки или записки, предшествовавшие их пикнику. Может быть, они любили друг друга. Страдал ли он, почтенный отец семейства, от угрызений совести и нерешительности? И какая ужасная перемена для нее – от предвкушаемой идиллии с обожаемым мужчиной до кошмара, перевернувшего всю ее дальнейшую жизнь с ног на голову. В панике она все же не забыла схватить свои вещи – к примеру, пальто и сумочку, но не припасы для пикника и шарфик – и помчалась прочь. Для меня было

очевидным, что она не предпринимала никаких действий. Она сидела дома, читала газеты и плакала в подушку.

Без всякой конкретной цели я пошел через поле. Все выглядело по-другому. Меньше чем за две недели деревья полевых защитных полос набухли первыми весенними соками, а трава под ногами сулила грядущее изобилие. Словно участвуя в следственном эксперименте, я разыскал дорожку, по которой мы шли с Клариссой, и дошел до места, где спрятались от ветра. Казалось, я очутился в каком-то полузабытом уголке из детства. Мы были так рады нашей встрече, нам было так легко друг с другом, а теперь я с трудом представлял себе, как вернуться к этой чистоте.

Оттуда я медленно направился к центру поля, по направлению своего бега, к точке, где встретились наши судьбы, а оттуда к краю откоса, куда стащил нас ветер. Сюда, пересекая поле, вела дорожка, по которой явился в мою жизнь Перри. За моей спиной, там, где стояла моя машина, остановился Логан. А вот здесь мы стояли и смотрели, как он падает с неба, и здесь же Перри поймал мой взгляд, и его внезапно поразила любовь, патологию которой мне так не терпелось исследовать.

Таков был мой маршрут. Я спустился с холма на поле и подошел к следующему месту. Овец не было, а небольшая дорога за оградой оказалась уже, чем в воспоминаниях. Я искал какую-нибудь вмятину на земле, но увидел лишь заросли крапивы, растянувшиеся почти до калитки, через которую перелезали полицейские. Здесь Перри предложил помолиться, и здесь я развернулся и ушел. Я так же уходил и сейчас, пытаясь представить, каким образом он умудрился разглядеть в моей позе какой-то отказ.

В прошлый раз взбираться на холм было значительно легче. Адреналин придавал сил моим конечностям и ускорял все мысли. Сейчас мое нежелание проникло глубоко в мышцы, и я слышал, как пульс бьется в висках. На вершине холма я остановился и огляделся. Поля, поля на сотни акров вокруг и один крутой склон. Я стоял там, будто никогда и не уходил, потому что эта выкрашенная в зеленый поверхность была сценой для моих рассеянных блужданий, и я не сильно бы удивился, увидев, как с разных сторон ко мне приближаются Кларисса, Джон и Джин Логаны, та безымянная женщина, Перри и де Клерамбо. Вообразив это, я представил себе, как они, встав полукругом, теснят меня к откосу, я не сомневался, что они явились, чтобы вместе обвинить меня – но в чем? Знай я это наверняка, я бы не вел себя как подсудимый. Недопонимание, неполноценность, недостаточное расширение ментального пространства, которое описать так же трудно, как шок от первого знакомства человека с числами. Интересно,

что сказала бы Кларисса, хоть с некоторых пор мы и не доверяем мнениям друг друга, но теперь француз в двубортном костюме просто заворожил меня.

Я развернулся и зашагал через поле к машине. Сама идея довольно проста, но человек, создавший теорию о патологической любви и давший ей, как жених у алтаря, свое имя, без сомнения, должен был поневоле разобраться в природе любви как таковой. Где определена патология, должна скрываться и концепция здоровья. Синдром де Клерамбо был темным, искажающим зеркалом, где отражался и пародировался светлый мир тех влюбленных, чья безумная страсть оказалась благоразумием. (Я зашагал быстрее. До машины оставалось метров четыреста, и, увидев ее теперь, я знал наверняка, что тогда передние дверцы оставались широко распахнутыми, как крылья.) Болезнь и здоровье. Иначе говоря, мог ли узнать я о Перри что-то, что вернуло бы меня Клариссе?

Лондонская трасса была перегружена, и лишь спустя два часа я припарковался напротив дома. По дороге я предполагал и даже ожидал его увидеть, но, выйдя из машины и обнаружив Перри, почувствовал, как екнуло сердце. Я помедлил, прежде чем перейти дорогу. Он стоял у самого входа, миновать его я не мог. Оделся как на парад: черный костюм, белая, застегнутая на все пуговицы рубашка, черные кожаные ботинки с белыми вставками. Он смотрел на меня, но выражение лица ни о чем не говорило. Я пошел быстро, надеясь проскочить мимо него в подъезд, но он стоял прямо на дороге, так что мне пришлось остановиться, чтобы не столкнуться. Напряженный, возможно, сердитый, в руке он держал конверт.

– Ты мешаешь пройти, – сказал я.

– Ты получил мое письмо?

Я попытался пройти между ним и низким кустом бирючины, росшим у дорожки, но он перекрыл эту лазейку, а мне не хотелось к нему прикасаться.

– Дай пройти, или я вызову полицию.

Он радостно кивнул, будто я пригласил его на чай.

– Но сначала ты должен это прочесть, – сказал он. – Это очень важно.

Надеясь, что теперь он отстанет, я взял конверт. Но это было еще не все. Он собирался сказать еще что-то. Для начала он взглянул на существо, сидящее на его плече. Когда же заговорил, его голос был хриплым и, думаю, сердце бешено колотилось. Он готовился к этому моменту. Он произнес:

– Я нанял исследователя, он достал мне все твои статьи. Прошлой ночью я прочел их, тридцать пять штук. У меня и книги твои есть.

Я просто смотрел на него и ждал. Что-то в его поведении изменилось. Тоска осталась, но появилась некая твердость, а еще изменились глаза. Теперь они казались меньше.

– Я знаю, чего ты добиваешься, но у тебя ничего не выйдет. Даже если ты напишешь миллион статей, а я их все прочту, тебе не разрушить того, чем я владею. Этого нельзя отнять.

Казалось, он надеялся на возражения, но я продолжал ждать, скрестив руки на груди и разглядывая царапину от бритвы – тонкий черный порез на его щеке. В следующей фразе он вроде бы хвастался, как легко смог найти исследователя, хотя я в этом не совсем уверен. Позже, тщательно обдумав его слова, я начал думать, что он пытался меня запугать. Но тогда было слишком легко предположить, что мне угрожают, и я отбросил эту мысль, так и не сделав вывода.

Он сказал:

– А я ведь не так прост. Я могу заставить людей выполнять мои желания. Любые желания. Деньги всегда кому-нибудь нужны. Удивляет только, как дешево платишь за то, чего сам никогда не стал бы делать?

Его псевдовопрос повис в воздухе, а он взглянул на меня.

– У меня в машине есть телефон. Если ты сейчас же не пропустишь меня, я вызову полицию.

Ответом была та же теплота во взгляде. Жестокость исчезла, он с благодарностью принял внимание, которое разглядел в моей угрозе.

– Очень хорошо, Джо. Правда. Мне это тоже нелегко. Я так же хорошо понимаю тебя, как и ты меня. Можешь не прятаться от меня. Не нужно шифровать свои чувства, правда не нужно.

Я сделал шаг назад и, повернувшись к машине, сказал:

– Нет никаких шифров. Когда же ты поймешь, что тебе нужна помощь?

Не успел я договорить, как он расхохотался, точнее, издал ковбойский клич и хлопнул себя по ляжке. Вероятно, он услышал, как я призвал к любви. Он почти кричал от радости:

– Вот именно. Все и вся на моей стороне. Все выйдет по-моему, Джо, и ничего ты с этим не сделаешь!

Псих, да и только. Он даже отошел в сторону, позволяя мне пройти. Был ли в том некий расчет? Глубина его сумасшествия не поддавалась анализу, и этого было достаточно, чтобы я с радостью закончил разговор и скрылся в доме. Кроме того, я знал, что полиция мне не поможет. Я не оглянулся проверить, будет ли он крутиться под окнами. Нечего доставлять ему удовольствие, показывая свое беспокойство. Его конверт я засунул в

задний карман и побежал, перепрыгивая через две ступеньки. Увеличившееся за пятнадцать секунд расстояние между нами действовало как болеутоляющее. Я вполне мог бы изучать Перри как носителя синдрома, даже получать от этого удовлетворение, но новая встреча на улице, особенно после прочитанного первого письма, меня здорово напугала. Мой страх мог наделить его большой силой. Легко представить, как однажды я предпочту не возвращаться домой. На лестничной площадке перед дверью я задумался, действительно ли он хотел меня напугать: если нанять исследователя так легко, то не намного дороже обойдется пара головорезов, которые избытют меня прежде, чем успею моргнуть. Но, может, я все неверно истолковал. Неясность подпитывала мой страх – угрозы же добавляли ему нюансов.

С такими мыслями я отпер дверь и переступил порог. Некоторое время я стоял, переводя дух и анализируя тишину и атмосферу квартиры. Хотя не было ни сумочки на полу возле двери, ни брошенного на стул жакета, я кожей чувствовал, что Кларисса уже вернулась с работы, но что-то не так. Я позвал ее, но никто не отозвался, и я прошел в гостиную. Она была Г-образной формы, и мне пришлось сделать несколько шагов, прежде чем я убедился, что Клариссы здесь нет. Из коридора, где я только что был, вроде бы донесся какой-то звук, и я снова позвал ее. В каждом доме есть свой набор потрескиваний и постукиваний, обычно вызываемых незначительными перепадами температуры, так что я не удивился, когда в коридоре никого не оказалось, хотя по-прежнему был уверен, что Кларисса где-то в доме. Я отправился в спальню, решив, что она могла прилечь. Туфли, в которых она уходила на работу, аккуратно стояли рядом с кроватью, покрывало было чуть примято в том месте, где она лежала. В ванной тоже не было следов ее пребывания. Я быстро обошел остальные комнаты, кухню, ее кабинет, детскую спальню – а потом проверил задвижку на двери, ведущей на крышу. После этого мне пришлось изменить свое мнение и прийти к логическому заключению: она пришла домой, скинула туфли, полежала на кровати, надела другие туфли и ушла. Встреча с Перри настолько взволновала меня, что я неправильно истолковал атмосферу.

Я пошел на кухню, поставил чайник. Потом забрел в свой кабинет и там обнаружил Клариссу. Это было так очевидно и шокирующе. Я увидел ее словно в первый раз. Она сидела босая, откинувшись в моем кресле, развернувшись спиной к столу, а лицом к двери. После всего, что произошло сегодня, этого можно было ожидать. Я выдержал ее взгляд и спросил:

– Почему ты не отзывалась?

– Думала, сюда ты заглянешь в первую очередь. – Когда я помрачнел, она добавила: – Ты не подумал, что я копаюсь в твоих вещах, пока тебя нет дома? Разве не так мы теперь поступаем друг с другом?

Я тяжело опустился на диван. Когда ты кругом не прав, чувствуешь что-то вроде свободы. Не нужно бороться, бессмысленно подбирать аргументы.

Она была спокойна и очень сердита.

– Я просидела здесь полчаса, уговаривая себя залезть в ящик и покопаться в твоих письмах. И знаешь, не смогла разжечь в себе интерес. По-твоему, это ужасно? Меня не интересуют твои секреты, и если у тебя нет секретов, мне это тоже неинтересно. Если бы ты захотел почитать мои письма, я бы сказала: «Пожалуйста, читай. Мне нечего скрывать». – Ее голос был выше обычного и немного дрожал. Я никогда не видел ее настолько разъяренной. – Ты будто нарочно оставил ящик открытым, чтобы я вошла и увидела. Это вроде такое сообщение, послание от тебя ко мне, знак. Беда в том, что я не поняла значения. Может, я глупа. Ну так скажи мне прямо, Джо. Что ты пытаешься сообщить?

Дорогой Джо, вчера в четыре часа в ворота моего дома позвонил студент, которого я специально нанял. Я вышел к воротам и отдал ему пятьсот фунтов за неделю работы, а он протянул мне сверток через прутья ограды. Ксерокопии тридцати пяти твоих статей. Он ушел довольный, а что же я? Я и понятия не имел, что за ночь ждет меня впереди. Наверное, это были худшие часы моей жизни. Суцая пытка, Джо, оказаться один на один с твоими сухими печальными мыслями; думать о дураках, заплативших за них хорошие деньги, и о невинных читателях, чьи дни были ими отравлены.

Я устроился в комнате, которую моя мать называла библиотекой, хотя на книжных полках там довольно пусто, и прочел все до последнего слова; слова будто звучали в моей голове, как если бы ты произносил их для меня. Я читал каждую статью как письмо, отправленное тобой в будущее, где есть место нам обоим. Что ты пытаешься со мной сделать, думал я не переставая. Уязвить меня? Оскорбить? Испытать? Я ненавидел тебя за это, но я ни на мгновение не забывал, что я люблю тебя, и потому читал дальше. Ему нужна помощь, говорил я себе каждый раз, когда был уже готов отчаяться, я должен освободить его из тесной клетки рассудка. В какие-то минуты я сомневался, верно ли истолковал волю Господа. Неужели я должен привести к нему автора этих ужасных статей, направленных против Него же? Может, задача моя проще и чище. Я, конечно, знал, что ты занимаешься наукой, и был готов, что мне будет непонятно или скучно, но мне и в голову не приходило, что в твоих статьях столько презрения.

Ты уже, наверное, не помнишь свою статью, четыре года назад написанную для «Нью сайнтист» о последних технологических достижениях в области изучения Библии. Кому есть дело до углеродного анализа возраста Туринской плащаницы? Неужели ты думаешь, что у людей изменится представление о Боге, когда они узнают, что это средневековая мистификация? Неужели ты думаешь, что вера может зависеть от длины полуистлевшего куска материи? Но по-настоящему шокировала меня другая статья, где ты пишешь собственно о Боге. Может, это была всего лишь шутка, но тем даже хуже. Ты делаешь вид, будто знаешь, кто или что Он, – литературный персонаж, говоришь ты, вроде героя романа. Ты говоришь, что лучшие умы в этой области готовы

высказать «научную гипотезу» об авторе Яхве и что все свидетельства указывают на некую женщину, хеттеянку, жившую за тысячу лет до Рождества Христова. Ее звали Вирсавия, и она была любовницей Давида. Женщина-писатель выдумала Бога! Лучшие умы скорее умрут, чем возьмут на себя ответственность за такую догадку. Речь идет о силе, которую не осмыслить ни тебе, ни кому-либо другому из живущих на Земле. Ты идешь дальше и утверждаешь, что и Иисус Христос – литературный персонаж, созданный в основном святым Павлом и «кем-то», написавшим Евангелие от Марка. Я молился за тебя, я просил дать мне сил встретиться с тобой и любить тебя, не теряя достоинства. Есть ли способ любить Бога и при этом любить тебя? Есть, Джо, и он называется верой. Ни подлинные и вымышленные факты, ни интеллектуальное высокомерие, а только вера в мудрость Господа и любовь Его, живущие в каждом сущем, – такая жизнь не снилась ни одному человеку, не говоря уже о литературных персонажах.

Допускаю, что наивно заблуждался, когда, ощутив первый порыв чувств к тебе, решил, что все получится легко и просто лишь потому, что я так сильно этого желал. Наступил рассвет, а у меня осталось еще десять непрочитанных статей. Я приехал на такси к твоему дому. Ты еще спал, не сознавая своей уязвимости, безразличный к окружившей тебя защите, происходящей из источника, существование которого ты отрицаешь. Тебе слишком везло в жизни, и, глядя на твои окна, я начал думать, что ты вел себя неблагодарно. Тебе, вероятно, никогда не приходило в голову сказать спасибо за то, что имеешь? Думаешь, так распорядилась судьба? Или ты добился всего своими силами? Я беспокоюсь за тебя, Джо. Беспокоюсь, потому что не знаю, куда тебя заведет твое высокомерие. Я перешел через дорогу и провел рукой по кусту. На этот раз посланий не оказалось. Зачем тебе говорить со мной, когда ты не обязан этого делать? Тебе кажется, ты получаешь все, что хочешь, кажется, что ты сам можешь обеспечить себя всем необходимым. Но, не думая о любви Господа, ты живешь как в пустыне. Если бы ты только до конца осознал, что именно я тебе предлагаю. Проснись!

У тебя могло сложиться впечатление, что я ненавижу науку. Я не особенно хорошо учился в школе и не слишком интересуюсь последними достижениями, но я знаю, наука – чудесная вещь. Познание и изучение природы – это не более чем некая разновидность длинной молитвы, прославление величия Господней Вселенной. Чем больше мы узнаем о сложности Его творений, тем лучше понимаем, сколь малы наши знания и сколь малы мы сами. Он дал нам разум, Он наградил нас чудесным интеллектом. Как глупо и печально, что люди используют этот дар, чтобы

усомниться в Его существовании. Ты пишешь, мы достаточно разобрались в химии, чтобы строить домыслы о возникновении жизни на Земле. Маленькие минеральные озерца, нагретые солнцем, химические соединения, протеиновые цепочки, аминокислоты и т. д. Примитивный суп. Мы изгнали Бога из этой истории, пишешь ты, и теперь он оттеснен в свое последнее убежище среди молекул и частиц квантовой физики. Но это не работает, Джо. Рассказы о приготовлении бульона не объясняют, зачем он готовится и кто здесь повар. Это жалкая демагогия по сравнению с бесконечной силой. Где-то в глубине твоих протестов против Бога слышится мольба о спасении из капкана твоей собственной логики. Твои статьи сливаются в протяжный крик одиночества. В этом отрицании нет радости. Что оно вообще тебе может дать?

Я знаю, ты меня не слышишь – пока. Твой разум закрыт и окружен защитой. Так удобно и спокойно говорить себе, что я сумасшедший. На помощь! Тут на улице человек предлагает мне любовь, свою и Бога! Вызовите полицию, вызовите «скорую»! У Джо Роуза никаких проблем. Его мир на месте, все сходится, вся проблема в Джеде Перри, в терпеливом идиоте, что стоит на улице, как попрошайка, и ждет, когда будет можно взглянуть на своего возлюбленного и предложить ему любовь. Что же мне сделать, чтобы ты услышал меня? Только молитва может ответить, только любовь может вынести все. Но моя любовь больше не будет умолять. Я не сижу у телефона в ожидании доброго слова. Не тебе решать, как сложится мое будущее, у тебя нет власти приказывать мне, что делать. Моя любовь тверда и сурова, она не примет ответа «нет», она упрямо движется к тебе, и она придет и потребует тебя. Иначе говоря, моя любовь – и любовь Господа – это твоя судьба. Твои отрицания и отказы и все твои статьи и книги – словно упрямство усталого ребенка. Наступит время, и ты с благодарностью примешь пришедший миг.

Видишь? Ночное чтение твоих статей укрепило меня. Вот что делает любовь Господня. Если тебе сейчас неприятно, то это лишь потому, что в тебе уже начали происходить перемены, и однажды ты с радостью скажешь: «Уведи меня от этой бессмысленности». Вот тогда мы с нежностью оглянемся на эту перепалку. Тогда мы уже будем знать, к чему она ведет, и мы улыбнемся, вспомнив, как мне пришлось давить на тебя и как ты стойко сражался, чтобы не подпустить меня. Поэтому, как бы ты ни был настроен сейчас, сохрани эти письма.

Когда я приехал ранним утром, я ненавидел тебя за то, что ты написал. Я хотел обидеть тебя. Может быть, даже больше. Больше этого, и Бог простит мне, думал я. На обратном пути, в такси, я представил, как ты

говоришь мне, что и Бог, и Его Единственный Сын – всего лишь персонажи, как Джеймс Бонд и Гамлет. Или как ты сам создаешь жизнь в лабораторной колбе, взяв набор химикатов и потратив лишь какой-то миллион лет. Ведь ты не просто отвергаешь существование Бога – ты хочешь сам занять Его место. Гордыня погубит тебя. Есть таинства, которых нельзя касаться, есть смирение, которому мы должны научиться, и я ненавижу тебя, Джо, за твою самоуверенность. Ты всегда хочешь сказать последнее слово. После прочтения тридцать пятой статьи я должен был понять это. Ты ни на секунду не сомневаешься, даже мысли не допускаешь, что можешь чего-то не знать. Ты всегда тут как тут с самой последней правдой о бактериях, и о частицах, и о сельском хозяйстве, и о насекомых, и о кольцах Сатурна, и о гармонии в музыке, и о теории катастроф, и о миграции птиц... Мой мозг работал как барабан стиральной машины – вертелся и крутился, забитый твоим грязным бельем. Сможешь ли осудить меня за то, что я ненавижу тебя и мусор, заполнивший твои мозги: спутники, нанотехнологии, геновая инженерия, биокомпьютеры, водородные двигатели. Все на продажу. И ты все покупаешь, ты лидер зрительских симпатий, ты специально нанятый зазывала, который умеет уговорить покупателя. Четыре года журналистской деятельности, и ни слова о настоящих вещах, о любви и вере.

Может быть, я злюсь, нетерпеливо ожидая начала нашей совместной жизни. Помню, однажды на летних каникулах мы всем классом отправились в поход по Швейцарии. И вот как-то все утро мы нудно взбирались по какой-то горной тропе. Мы все возмущались – это казалось рискованным и бессмысленным, – но учитель велел нам идти дальше. Перед самым обедом мы добрались до высокогорного луга – огромное, залитое солнцем пространство из цветов и травы, с изумительно зеленым мхом по берегам ручья. Это было волшебное место. Шумная ватага детей притихла. Кто-то шепотом сказал, что мы будто попали в Рай. Это был великий момент моей жизни. Думаю, когда мы минуем трудности, когда ты придешь ко мне и мы будем вместе, это будет словно путешествие к тому лугу. И никаких больше горных подъемов! Только спокойствие и целая бесконечность впереди.

Есть еще одна вещь, про которую я должен тебе сказать. Я ворвался в твою жизнь так же, как ты ворвался в мою. Ты вынужден жалеть, что это произошло. Вся твоя жизнь пошла кувырком. Тебе надо поговорить с Клариссой, надо перевезти все вещи, хотя от большей их части тебе, наверное, захочется избавиться. Тебе надо рассказать самому себе и всем своим друзьям не только об изменившемся адресе, но и о революции в

твоей вере. Боль и суета, тебе этого не хочется. Будут моменты, когда ты пожалеешь, что я вмешался в твою размеренную и самодостаточную жизнь. Ты будешь жалеть, что я существую. Это понятно, и тебе не стоит этого стыдиться. Ты почувствуешь гнев, и ты захочешь прогнать меня прочь, потому что я олицетворяю беспорядок и кутерьму. Все именно так и должно быть. Это и есть крутая горная тропа! Всему, что ты чувствуешь, ты должен найти названия. Проклинай меня, сбрасывай на меня камни, топчи меня – если осмелишься. Но пока мы еще идем к нашему лугу, не делай лишь одного – не игнорируй меня, не делай вид, что ничего не происходит, не бойся трудностей, боли и любви. Не отворачивайся от меня, как от пустого места, проходя мимо. Ни тебя, ни меня этим не обманешь. Не отрекайся от меня, потому что так в конце концов тебе придется отречься от самого себя. Я прихожу в отчаяние, когда ты отказываешься от Бога, потому что мне кажется, что ты также отказываешься от меня. Прими меня в свою жизнь, и ты увидишь, как легко ты примешь Бога. Пообещай мне. Можешь злиться и иронизировать. Мне все равно. Я никогда от тебя не откажусь. Но никогда, никогда не делай вид, даже для самого себя, что я не существую.

Джед

Не знаю, как это вышло, но мы лежали в постели лицом к лицу, будто все было хорошо. Может, мы просто устали. Было уже поздно, далеко за полночь. Тишина была такой густой, что ее можно было разглядеть – как искры, как эмаль, – и плотной, как масляная краска. Такая синестезия, видимо, проистекала из потери ориентации, потому что ситуация была до боли знакомой – вот я лежу в зеленых лугах ее взглядов и чувствую ее гладкие тонкие руки – и в то же время неожиданной. Вряд ли мы стали врагами, но все меж нами застыло.словно две неприятельские армии, наблюдающие друг за другом из лабиринта траншей. Мы были парализованы. Только безмолвные обвинения развевались, словно знамена, над нашими головами. Она считала меня маньяком-извращенцем и, что хуже всего, нарушителем границ ее личного пространства. А я считал, что она проявила вероломство, не поддержав меня в критической ситуации, и неоправданную подозрительность. Не было ссор и даже мелких перепалок, мы словно чувствовали, что от выяснения отношений нас разнесет вдребезги. Мы оставались в нормальных отношениях, но тщательно подбирали темы для разговоров: новости с работы, обмен мнениями насчет покупок, вечернего меню и домашних дел. Каждый будний день Кларисса уходила читать лекции, вести семинары, а также баталии с руководством. Я писал длинный и скучный обзор пяти книг о сознании. Когда я только начинал писать на научные темы, это было словно изъято из научных трактатов. Такой темы как бы не существовало. Зато теперь оно стоит наравне с черными дырами, Дарвином и вымахало едва ли не выше динозавров.

Мы продолжали жить, придерживаясь заведенного распорядка, потому что все остальное утратило свою прежнюю ясность. Мы знали, что растеряли чувства, наши чувства. Утратили любовь, забыли, как это делается, и не знали, с чего начать разговор об этой утрате. Спали в одной постели, но уже не в объятиях друг друга. Пользовались одной ванной, но никогда не раздевались друг перед другом. Мы скрупулезно старались вести себя как обычно, понимая, что все остальное, холодная вежливость, например, обернется шарадой и приведет к конфликту, которого мы всеми силами хотели избежать. То, что когда-то казалось естественным, – секс, долгие разговоры или молчаливое взаимопонимание – стало сложным, требующим усилий механизмом, как четвертый морской хронометр

Харрисона^[13], который устарел настолько, что запустить его невозможно. Наблюдая, как она причесывается или нагибается поднять книгу с пола, я вспоминал ее красоту, как параграф из школьного учебника, когда-то выученный наизусть. Верный, но сейчас несущественный. И я мог представить, как выгляжу в ее глазах: нескладным и невежливым верзилой, биологически мотивированной дубинкой, гигантским полипом занудной логики, с которым по ошибке связывают ее имя. Когда я говорил с ней, мой голос глухо и плоско звучал в моей голове, и не только каждая фраза, но даже каждое слово было ложью. Безмолвное раздражение и глубоко въевшаяся неприязнь к самому себе были моими составляющими, моими знаменами. Когда мы встречались взглядами, казалось, что наши призрачные, более подлые эго закрывали нам лица руками, чтобы не допустить взаимопонимания. Но наши взгляды встречались редко, и то лишь на секунду-другую, а потом нервно уходили в сторону. Те мы, которые в прошлом любили друг друга, никогда бы не поняли и не простили нынешних. Мы чувствовали это, и главной неосознанной эмоцией, витавшей в те дни по нашей квартире, был стыд.

И вот теперь, где-то около двух часов ночи, мы лежали в постели, смотря друг на друга в тусклом свете одной лампы; я обнаженный, она в хлопковой ночной сорочке, наши руки, пальцы соприкасались, но нейтрально, ничего не обещая. Вопросы громоздились вокруг нас, и какое-то время ни один из нас не решался заговорить. Достаточно и того, что мы могли не отводить взгляда.

Я упоминал, что у нас все еще получалось обсуждать ежедневные дела, но один из аспектов жизни растворился в монотонности дней, и мы не выносили даже мыслей о нем. Многие замечают, как быстро удивительное становится нормой. Я думаю об этом каждый раз, оказавшись ночью на трассе или в самолете, взлетающем к солнцу сквозь пелену облаков.

Мы чрезвычайно легко ко всему приспосабливаемся. Предсказуемое становится, по определению, фоном, не раздробляя внимания, оставляя его полностью готовым к схватке со случайным и неожиданным.

Перри посылал по три-четыре письма в неделю, обычно длинных и пылких и все более и более сосредоточенных на настоящем времени. Часто он избирал темой сам процесс написания письма или комнату, в которой находился, смену времени суток и погоды, перемены в своем настроении, а также тот факт, что это письмо помогло ему ощутить мое присутствие рядом. Последние строчки затянуто выражали печаль от расставания. Религиозные ссылки могли бы показаться чистыми формулами, не будь они такими страстными: его любовь была любовью Господа, такой же

терпеливой и всеобъемлющей, и Бог хотел привести меня к себе через Перри. Обычно присутствовали и обвинения, иногда проходящие нитью через все письмо, иногда сконцентрированные в одном абзаце, полном боли: я инициировал нашу любовь и, следовательно, должен признать мою ответственность перед ним. Я играю с ним, направляю его, рассылаю сообщения и подбадриваю, а затем отворачиваюсь от него. Я дразню его, как кокетка, я мастер устраивать медленные пытки, мой дар – никогда не признаваться в содеянном. Вроде бы я теперь не посылал сообщений через кусты и занавески. Нынче я обращался к нему в снах. В сиянии я являлся перед ним, как библейский пророк, и уверял его в любви, предрекая грядущее счастье.

Я научился быстро ухватывать суть этих писем. Задерживаясь лишь на обвинениях и фрустрации, я старательно искал новые угрозы, вроде той, которую услышал у входа в дом. Со злобой было все в порядке. Чернота копилась в нем, но он был слишком хитер, чтобы ее выплеснуть. Но она должна была проявиться, ведь он писал, что я источник всей его боли, строил догадки, что я, возможно, никогда не перееду к нему, намекал, что все может «закончиться такой печалью и слезами, какие нам и не снились, Джо». Мне было этого мало. Я страстно желал большего. Прошу, Джед, вложи оружие в мою руку. Одна маленькая угроза – и я смогу обратиться в полицию, но он отвергал меня, дразнил и отступал, словом, делал все, что приписывал мне. Я хотел, чтобы он повторил свою угрозу, я нуждался в определенности, и, пока он не принимал этот вызов, у меня не исчезали подозрения, что рано или поздно он причинит мне вред. В этом же убеждали и мои исследования. В одной статье говорилось, что больше половины мужчин с синдромом де Клерамбо пытались осуществить насилие в отношении субъектов своей одержимости.

Такой же рутиной, как получение писем, стало присутствие Перри возле дома. Он приходил почти каждый день и занимал позицию на другой стороне улицы. Казалось, он сумел найти равновесие между законами времени и собственными нуждами. Не увидев меня в течение часа, он уходил. Если я выходил из дома, он какое-то время шел за мной, всегда оставаясь на противоположной стороне улицы, а потом сворачивал в проулок и уходил, не оглядываясь. Этих встреч ему хватало для подпитки своей любви, и, насколько я понимаю, он сразу отправлялся в Хэмпстед, чтобы засесть за новое письмо. Одно из них начиналось: «Я разгадал смысл твоего взгляда, Джо, но думаю, ты ошибаешься...» Он ни разу не озвучил своего решения никогда не заговаривать со мной, и в какой-то момент я почувствовал себя обманутым, потому что я надеялся, что, раз уж

он не собирается угрожать мне в письмах, он будет так любезен и позволит мне записать его слова на пленку. Я носил в кармане маленький диктофон, закрепив микрофон под лацканом. Однажды на глазах у Перри я склонился над кустом и провел по нему руками, оставляя послание, а потом обернулся к Перри и посмотрел на него. Но он не подошел и даже не упомянул об этом событии в следующем письме. Форма, которую принимала его любовь, не изменялась под воздействием внешних влияний, даже если они исходили от меня. Его мир определялся изнутри, приводился в движение личной необходимостью и таким образом мог оставаться неприкосновенным. Ничто не могло убедить его в неправоте, ничего не требовалось для доказательства его правоты. Если бы я написал ему страстное признание в любви, это бы ничего не изменило. Он заперся в клетке собственного вымысла, где дразнил себя многозначительностями, наблюдал несуществующие драмы надежд и разочарований, внимательно изучал внешний мир, с его случайными раскладами, хаотическим шумом и красками, в поисках соответствия своему нынешнему эмоциональному состоянию – и всегда находил удовлетворение. Он осветил мир чувствами, и мир подтверждал каждый поворот его эмоций. Если наступало отчаяние, то лишь потому, что он прочел нечто мрачное в атмосфере, ну или из-за вариации в птичьей песенке, которая рассказала ему о моем презрении.

Если приходила радость, то она оценивалась как следствие неожиданного благословенного события – чудесное послание от меня во сне, озарение, «явившееся» во время молитвы или медитации.

Он заключил себя в темницу любовной самодостаточности, и ни в радости, ни в отчаянии он не собирался угрожать мне и даже говорить со мной. Три раза с включенным диктофоном я переходил на его сторону улицы, но он скрывался.

– Ну и убирайся! – кричал я в его удаляющуюся спину. – Хватит таскаться за мной. Хватит донимать меня своими тупыми письмами. – В действительности думая: «Вернись и поговори со мной». Вернись и, оценив всю безнадежность твоего случая, обеспечь меня неприкрытыми угрозами. Или доверь их телефону. Выскажи все моему автоответчику.

Естественно, мои выкрики несколько не повлияли на тон письма, полученного на следующий день. Оно было полно счастья и надежды. Он был непоколебим в своем солипсизме, а я уже начинал нервничать. Логика, способная за один шаг довести его от отчаяния до ненависти, от любви до разрушения, была непредсказуема и индивидуальна, и если Перри решится подойти ко мне, предупреждения не будет. Я стал с особой тщательностью запирать квартиру на ночь. Выходя из дома в одиночку, особенно вечером, я

все время проверял, кто идет за мной. Я стал чаще ездить на такси и, вылезая, всегда оглядывался по сторонам. Преодолев небольшие трудности, я договорился о встрече с инспектором местного отделения полиции. Я начал фантазировать на тему оружия, которое может понадобиться мне для самозащиты. Газовый баллончик? Кастет? Нож? Я мысленно разыгрывал жестокие схватки, из которых неизменно выходил победителем, но в рациональной глубине своей души – этого органа тупого здравого смысла – я знал, что он вряд ли подойдет ко мне прямо. Кларисса в конце концов исчезла из мыслей Перри. Он больше не упоминал о ней в письмах и ни разу не попытался с ней заговорить. Более того, он активно ее избегал. Каждый раз, когда она выходила из квартиры, я наблюдал из окна в гостиной. Стоило ему заметить через стеклянные двери подъезда, что она спускается по лестнице, как он торопливо удалялся, не дожидаясь, пока она выйдет из дома. Она уходила, и он возвращался на свою позицию. Считал ли он, в рамках своей личной повести, что таким образом щадит ее чувства? Воображал ли себе, что я все объяснил Клариссе и теперь она, в общем-то, выбыла из игры? Или что он сам каким-то образом все уладил? Или что в нашем деле вообще не требуется никакой слаженности?

Мы лежали в тишине уже десять минут. Она – на левом боку, и казалось, я слышал, как отдается в моей подушке нервный ямб ее пульса. А может, это был мой собственный ритм – тихий и, как я заметил, становящийся все тише и тише. В этой тишине не было напряжения. Мы глядели друг другу в глаза, постоянно отводя взгляд на другие черты, в глаза, на губы и снова в глаза. Это был процесс долгого и медленного узнавания, и с каждой новой проведенной в молчании минутой наше воспоминание набирало свою спокойную мощь. Инертная сила любви, часы, недели и целые годы, прошедшие в гармонии, конечно, сильнее обстоятельств настоящего. Может, любовь способна накапливать собственные ресурсы?

Самое последнее, что мы могли сейчас сделать, думал я, – перейти к терпеливым объяснениям и выслушиванию. Психология нынче так популярна, что от подобных обсуждений ждут слишком многого. Конфликты, словно живые организмы, имеют свой естественный жизненный цикл. Фокус заключается в том, чтобы в нужный момент дать им умереть. Если ошибиться со временем, слова могут обеспечить им встряску, и эти твари переродятся в патогенных формах, лихорадочно регенерируя, согласно новой формуле или согласно какому-то болезненному «новому взгляду» на вещи. Я сдвинул руку и чуть-чуть сильнее сжал ее ладонь. Ее губы разъединились, разошлись с тихим

хлопком. Все, что нам надо было – смотреть и запоминать. Заняться любовью, а все остальное вышло бы само собой. Губы Клариссы сложили мое имя, но не было ни звука, ни вдоха. Я не мог отвести глаз от ее губ. Таких мягких, блестящих, богатого натурального цвета. Губную помаду изобрели, чтобы женщины могли наслаждаться слабым подобием этого цвета.

– Джо, – снова обозначили губы. Еще одним доводом не в пользу разговоров было то, что нам бы пришлось впустить Перри в нашу спальню, в нашу кровать.

– Джо, – в этот раз она выдохнула мое имя, поджав губы, потом нахмурилась, глубоко вздохнула и произнесла низким, глубоким голосом: – Джо, это конец. Лучше это признать. Ведь между нами все кончено?

Мне не показалось, что я пересек порог переосмысления, ни земля, ни кровать не ушли из-под моих ног, хоть я и вышел в открытый космос, из которого видел, как всего этого не происходит. Конечно, я был в состоянии только отрицать. Но я ничего не чувствовал, совершенно. Я молчал – не потому, что не находил слов, а как раз потому, что ничего не чувствовал. Вместо этого мои хладнокровные, как лягушки, мысли прыгнули к Джин Логан, с которой Кларисса нынче соседствовала в том участке моего мозга, где обитали женщины, считающие себя обманутыми и чего-то желающие от меня.

Я пытался быть ответственным. Усевшись за стол с клочком бумаги Джин Логан, я начал обзвон. Первым я позвонил Тоби Грину в Расселз-Уотер и попал на энергичную старушку с надтреснувшим голосом, вероятно его мать. Я вежливо спросил о состоянии сломанной лодыжки ее сына, но она резко перебила меня:

– И для чего он вам понадобился?

– Я насчет того происшествия с воздушным шаром. Я хотел спросить его...

– У нас здесь уже побывало полно репортеров, так что проваливайтесь.

Четко сказано, и достаточно спокойным голосом. Подождав пару часов, я позвонил снова, и на этот раз быстро озвучил свое имя и тот факт, что был одним из висевших на веревках рядом с ее сыном. Когда наконец Тоби Грин дохромал до телефона, выяснилось, что он не может мне помочь. Он видел машину Джона Логана на дальнем краю поля, но был очень занят установкой ограды, а потом бежал к шару, так что он совершенно не представлял, был ли Джон Логан с кем-то еще. Грина трудно было удержать на этой теме. Он хотел рассказывать о своей

лодыжке и о страховке за несчастный случай, которую должен получить. «Мы уже три раза ходили в комиссию по выплатам...» Двадцать минут он распространялся об административной неразберихе и унижительности положения, пока мать не позвала его, и тогда он положил трубку, не попрощавшись.

Вряд ли его друг из Уотлингтона, Джозеф Лейси, оказался бы дома днем, поэтому я сразу позвонил в Рединг и попросил позвать Джеймса Гэдда, владельца шара. Отвечала его жена, ее голос был мягким и добрым.

– Скажите ему, что я один из тех, кто, рискуя своей жизнью, пытался удержать его внука, когда того уносило.

– Что ж, попытаюсь, – произнесла она. – Но ему не нравится об этом говорить, очень не нравится.

Я слышал звуки телевизионных новостей и Гэдда, перекрикивающего их:

– Все, что я должен сказать, я скажу на судебном заседании.

Миссис Гэдд вернулась к телефону и передала его слова покорно, с мягким сожалением, будто она тоже пострадала от его отказа разговаривать.

В конце концов я дозвонился до Лейси, и он оказался более собранным человеком.

– Чего они там хотят? У них недостаточно свидетелей?

– Я звоню по поручению его вдовы. Она думает, что с ее мужем кто-то был.

– Если кто и был, у него, видать, есть причина не высовываться. Не будить, так сказать, спящую собаку.

Это было сказано слишком быстро и определенно, потому я объяснил все начистоту:

– Она думает, с ним была женщина. Найдя в машине припасы для пикника и шелковый шарф, она решила, что у него был роман. Это ее очень мучает.

Он прищелкнул языком и надолго замолчал.

– Вы еще здесь, мистер Лейси?

– Я думаю.

– Так вы ее видели?

Снова повисла пауза, затем он произнес:

– Это не телефонный разговор. Приезжайте в Уотлингтон, а там посмотрим. – Он продиктовал адрес, и мы назначили время.

Я спросил у Клариссы, и она сказала, что вроде в машине Логана были открыты две двери или даже три, но никого, кроме самого Логана, она не

видела. Оставался еще Перри. Помнится, он пробежал ближе всех к машине. Но мог ли я подойти к нему с диктофоном в кармане, узнать, что мне нужно, а затем еще вынудить обрушиться на меня с угрозами? Помимо общей абсурдности, идея получения от Перри обычной информации казалась мне фантастической. Его мир составляли эмоции, измышления и страстные желания. Он настолько напоминал персонаж из дурного сна, что трудно представить, как он занимается обычными земными делами – бреется или платит за электроэнергию. Он словно бы и не существовал.

Поскольку я продолжал молчать, не находя сил ответить, Кларисса заговорила снова. Мы по-прежнему смотрели друг на друга.

– Ты непрерывно о нем думаешь. Непрерывно. Ты думал о нем даже сейчас, разве нет? Ну скажи честно. Ведь думал?

– Да, думал.

– Не пойму, что с тобой происходит, Джо. Ты отдаляешься от меня. Это страшно. Тебе нужна помощь, причем не моя.

– В среду я встречаюсь с полицейскими. Может, они смогут...

– Я говорю о твоей психике.

Я сел.

– С моей психикой все в порядке. Крепкая такая психика. Любимая, он представляет реальную угрозу, он может быть опасен.

Кларисса тоже попыталась сесть.

– Бог ты мой, – вздохнула она, – ничего ты не понимаешь, – и заплакала.

– Послушай, я подробно разобрался в этом вопросе. – Я положил руку ей на плечо, но Кларисса ее сбросила. И все-таки я продолжил: – Исходя из того, что я прочитал, можно заключить, что страдающие синдромом де Клерамбо делятся на две категории.

– Думаешь, читая книги, ты сможешь выбраться из этой ситуации?! – Внезапно она разозлилась и перестала плакать. – Как ты не поймешь, у тебя проблема!

– Я все прекрасно понимаю. Только выслушай меня. Стоит человека выслушать, и сразу многое проясняется. У первой категории симптом является частью общего психического расстройства. Такие больные определяются без труда. А у второй группы болезнь развивается в чистом виде, они полностью одержимы объектом своей любви, но во всем остальном это совершенно нормальные люди.

– Джо! – Она уже кричала. – Ты говоришь, он стоит под окнами, но когда я выхожу, там никого нет. Никого, Джо.

– Он замечает тебя еще в подъезде и прячется за деревом, чуть дальше

по улице. И не спрашивай меня почему.

– А эти письма, этот почерк... – Она взглянула на меня, и ее нижняя губа чуть ослабла. У нее явно мелькнула какая-то мысль, заставившая оборвать фразу.

– Что «эти письма»? – спросил я.

Кларисса помотала головой. Она уже встала и принялась отбирать одежду, которая понадобится ей завтра. Она остановилась в дверях с вещами и произнесла:

– Мне страшно.

– Мне тоже. Он может стать буйным.

Она смотрела не на меня, а куда-то поверх моей головы. Голос ее срывался.

– Сегодня я буду спать в детской спальне.

– Кларисса, пожалуйста, останься.

Но она ушла, а на следующий день перенесла в ту комнату свои вещи, и, как это у нас повелось, импульсивный порыв стал постоянным решением. Мы продолжали жить бок о бок, но я понимал, что остался один.

В среду у Клариссы был день рождения. Когда я вручил ей открытку, она поцеловала меня в губы. Теперь, удостоверившись, что я сошел с ума, и озвучив, что между нами все кончено, она выглядела окрыленной и великодушной. Впереди была новая жизнь, и Кларисса, проявляя заботу, ничего не теряла. Несколькими днями раньше ее жизнерадостность возбудила бы во мне подозрения или ревность, но теперь я лишь сделал вывод: она не пыталась ни исследовать, ни обдумывать этот вопрос. Состояние Перри не могло оставаться неизменным. Не получая удовлетворения, его любовь должна была превратиться в безразличие либо ненависть. Кларисса предпочитала довериться своим эмоциям, которые выведут ее на путь истины, хотя в действительности необходима была лишь информация, предусмотрительность и тщательный расчет. Вполне естественным, хотя и катастрофичным для нас обоих, было то, что она должна была считать меня сумасшедшим. Как только она ушла на работу, я отправился в кабинет упаковывать подарок, который собирался вручить ей во время обеда с ее крестным, профессором Кейлом. А также я собрал все письма от Перри, разложил в хронологическом порядке и поместил их в папку с зажимом. Лежа в кресле, я медленно просматривал страницу за

страницей, выбирая и помечая важные фразы. Потом я напечатал их отдельно, вставляя в скобках необходимые комментарии. В конце концов у меня получилось четыре листка цитат, с которых я сделал три копии и поместил каждую из них в отдельную папку. Эти размеренные действия ввели меня в состояние организационного транса, администраторской иллюзии, что все невзгоды этого мира можно обуздать посредством электронной таблицы, приличного лазерного принтера и коробки скрепок.

Я пытался составить досье его угроз, но не смог найти никаких конкретных и однозначных примеров, лишь намеки и логические построения, совокупность которых вряд ли убедит полицейского. Нужен был дар литературного критика, как у Клариссы, чтобы читать между строк, полных протестующей любви, но я знал, что она не станет мне помогать. Где-то через час я понял, что мне не следовало так углубляться в неприкрытую фрустрацию и разочарования: как я возбудил в нем любовь, как направлял его, дразнил лживыми обещаниями, отказывался от обязательств переехать к нему. Поначалу казавшиеся устрашающими, в ретроспективе эти высказывания выглядели банальной патетикой. Настоящие угрозы, как я начал понимать, были где-то в другом месте.

Например, он, разразившись признаниями, как одиноко ему без меня, вспоминал, как в четырнадцать лет отдыхал с дядей в деревне. Одолжив мелкокалиберную винтовку, он ходил охотиться на кроликов. Вот он бесшумно пробирается между кустами, все чувства обострены до предела, он полностью сконцентрирован – такое одиночество нравилось ему больше всего. Описание охоты выглядело бы достаточно безобидно, не говори он с такой страстью об удовольствии убивать: «... власть над смертью, соскакивающей с моих пальцев, Джо, власть над пространством. Я могу это сделать! Могу! Вот о чем я думал. Достать зверя на бегу, видеть, как он делает нервное сальто, а потом падает на землю, извиваясь и дергаясь. Когда он перестает трепыхаться, я подхожу, чувствуя себя самой судьбой и испытывая любовь к маленькому существу, которое только что уничтожил. Власть над жизнью и смертью, Джо. Ею владеет Бог и владеем мы, созданные по Его образу и подобию».

Я перепечатал три фразы из другого письма: «Я хотел обидеть тебя. Может быть, даже больше того. Больше того, и Бог простит мне, думал я». В одном из недавних писем я отыскал отголоски идеи, высказанной после моего возвращения из Оксфорда: «Ты начал все это, и теперь тебе не убежать. Я могу заставить людей выполнять мои желания – ты уже знаешь об этом. И даже сейчас, пока я пишу это письмо, двое парней занимаются ремонтом у меня в ванной. В былые времена я сделал бы все сам,

независимо от того, были бы у меня деньги или нет. Но теперь я учусь поручать что-то другим». Я долго перечитывал эти слова. Есть ли связь между моей неспособностью убежать и его способностью заставить других «выполнять его желания». Недоставало какого-то звена. В его последнем письме есть ни к чему не относящаяся фраза: «Вчера я отправился на Майл-Энд-роуд – знаешь, там живут настоящие головоломы. Хочу подыскать себе еще мастеров!»

И повсюду встречались зловещие обращения к темной стороне Божественной сути. «Любовь Господа, – писал он, – может принимать форму гнева. Может предстать перед нами как большое несчастье. Этот трудный урок я усвоил за всю свою жизнь». И на ту же тему: «Его любовь не всегда нежна. Да и как это возможно, если она должна длиться вечно, если у тебя не должно быть ни одного шанса избежать ее? Любовь – это тепло, это жар, который может спалить тебя, Джо, может истребить тебя».

В письмах Перри цитаты из Библии встречались довольно редко. Его религия неопределенно витала вокруг специфических доктрин, он не был похож на приверженца какой-либо конкретной церкви. Его вера была самодельным увлечением, в общих чертах сведенным к культуре личностного роста и удовлетворения. Он часто рассуждал о неотвратимости, о своем «пути», с которого его никому не удастся сбить, о судьбе – его и моей, сплетенных вместе. Часто слово «Бог» было равнозначно слову «я». Любовь Господа ко всем людям превращалась в любовь Перри ко мне. Бог, безусловно, находился «где-то внутри», а не на небесах, и вера в Него разрешала действовать в соответствии с призывами чувств или интуиции. Эта гибкая структура подходила для неуравновешенной психики. В ней отсутствовала скованность, присущая теологической взыскательности и религиозным ритуалам, отсутствовал социальный мотив и конгрессу-гациональное стремление к пользе, отсутствовала какая-либо моральная система, делающая религию жизнеспособной, невзирая на ошибочную космологию. Перри прислушивался только ко внутреннему голосу, своему личному Богу.

Единичным случаем обращения к источнику, находящемуся за пределами самого Перри, была пару раз упомянутая история об Иове, но даже и тут я не был уверен, что он читал первоначальный вариант. «Ты выглядел встревоженным, – написал он мне как-то после того, как увидел меня на улице. – Ты даже выглядел как человек, испытывающий боль, но и в боли ты не должен сомневаться в нас. Вспомни, сколько боли выпало на долю Иова, но Господь любил его все это время». И еще одно непроверенное допущение: Бог и Перри – одно, и между ними решается

вопрос о наших земных судьбах. Из другой фразы можно было сделать предположение, что Бог – это я. «Мы оба страдаем, Джо, оба беспокоимся. Вопрос только в том, кто из нас Иов?»

Перри не оказалось на обычном месте, когда тем утром я вышел из дома с подарком для Клариссы в кармане и коричневым конвертом с тщательно подобранными цитатами. Я остановился и осмотрелся, в глубине души ожидая, что сейчас он выйдет из-за какого-нибудь дерева. Изменения в привычном распорядке заставили меня забеспокоиться. Я не видел его со вчерашнего утра. Теперь, изучив литературу и просчитывая варианты, я предпочел бы, чтобы он находился в пределах видимости. По дороге в полицейский участок я несколько раз оборачивался, чтобы убедиться, что он не идет за мной.

Народу почти не было, но мне больше часа пришлось дожидаться в приемной. Там, где человеческая потребность в порядке встречается с человеческим стремлением к членовредительству, где цивилизация натывается на собственную неудовлетворенность, вы неминуемо столкнетесь с разногласиями и всяческими коллизиями. Это переполняло мелкие дырки в линолеуме на пороге каждой двери и извилистую вертикальную трещину на матовом стекле перед пультом дежурного офицера, витало в горячей духоте, которая вынуждала каждого посетителя снимать верхнюю одежду, а самих полицейских ходить в рубашках.

Это присутствовало и в неуклюжих позах двух мальчишек в черных дутых куртках – слишком злые, чтобы разговаривать, они уставились в пол, – и в вырезанной на подлокотнике моего кресла надписи: это был осторожный вызов или усиливающееся страдание – «блядь блядь блядь». Это же я увидел в бледном сиянии круглого широкого лица дежурного инспектора Линли, когда наконец-то он повел меня в комнату для переговоров. У него был вид человека, редко бывающего на свежем воздухе. Ему незачем было выходить на улицу, поскольку все возможные неприятности вереницей проходили через это здание.

Один мой друг, журналист, три года проработавший в отделе криминальной хроники какой-то бульварной газеты, предупреждал меня, что единственный способ вызвать у полицейских хотя бы слабый интерес к моему делу – написать официальную жалобу на отсутствие интереса с их стороны. Таким образом я смогу обойти женщину в очках, охраняющую пост приема посетителей. Жалобу в конце концов рассмотрят, и я смогу рассказать свою историю кому-то уже чуть выше чином. Тот же друг предостерегал, что не следует ждать от полицейских слишком многого. Чин, с которым мне удастся встретиться, скорее всего уже подумывает об

отставке и спокойной жизни. Его задача – отваживать всех жалобщиков, приходящих в участок.

Линли махнул рукой, предлагая мне опуститься на один из двух железных стульев. Мы сели, лицом друг к другу, за пластиковый стол с узором кругов от кофейных кружек. Мой холодный стул был жирным на ощупь. Обрезанная бутылка от кока-колы служила пепельницей. Рядом в ложке свернулся использованный пакетик чая. Это запустение было лаконично в своем вызове: кому ты тут собирался жаловаться?

Я подал жалобу, Линли в конце концов позвонил мне, и я рассказал ему, в чем дело. Тогда я не мог определить, полный ли он тупица или хоть что-то соображает. У него был характерный сдавленный голос, который используют комики, пародируя бюрократов. Пока что Линли производил впечатление слабоумного. С другой стороны, он еще сказал не так много. Даже сейчас, открыв папку, он не произнес ни «с добрым утром», ни «что тут у нас», ни «так-так» или «гм-гм». Только воздух с электронным свистом вырывается из волосатых ноздрей. Я подумал, что в такой тишине свидетели и подозреваемые рассказывают гораздо больше, чем намечевались, потому молча смотрел, как он просматривает свои заметки – пару страниц, исписанных наклонными заостренными буквами.

Линли поднял глаза, но даже не взглянул мне в лицо. Его взгляд остановился где-то на уровне моей груди. Только набрав воздуха, чтобы заговорить, он скользнул по мне своими маленькими серыми глазками.

– Итак, вы подвергаетесь преследованию и угрозам со стороны этого человека. Вы об этом сообщили, но не получили удовлетворительного ответа.

– Именно, – подтвердил я.

– Преследование заключается в?..

– Как я уже говорил, – начал я, пытаюсь прочесть его записи, лежащие вверх ногами. Он что, не слушал меня? – Он посылает по три-четыре письма в неделю.

– Непристойные предположения?

– Нет.

– Оскорбления?

– Не совсем.

– Значит, что-то на тему секса.

– Нет, секс тут ни при чем. Это одержимость. Он помешался на мне. Не может думать ни о чем другом.

– Он звонит вам?

– Больше нет. Только шлет письма.

– Он в вас влюблен.
– Он страдает от заболевания, известного как синдром де Клерамбо. У него мания. Он думает, что я все это начал, убежден, что я поощряю его тайными знаками...

– Вы психиатр, мистер Роуз?

– Нет.

– Значит, гомосексуалист.

– Нет.

– Как вы познакомились?

– Я уже рассказывал. Несчастный случай с воздушным шаром.

Он перевернул страничку своих заметок.

– У меня, кажется, на этот счет ничего не записано.

Я вкратце описал ситуацию, а он слушал, подперев руками свою тяжелую симметричную голову, но так ничего и не записал. Когда я закончил, он спросил:

– С чего все началось?

– Он позвонил посреди ночи.

– Он сказал, что любит вас, и вы повесили трубку. Вы, должно быть, расстроились.

– Забеспокоился.

– И обсудили все с женой.

– На следующий день.

– Почему не сразу?

– Мы очень устали, и морально и физически.

– И как она реагирует на все это?

– Она расстроена. Наши отношения сильно испортились.

Линли поглядел вбок и значительно поджал губы.

– Скажите, она когда-нибудь злилась на вас из-за этой истории? Или вы на нее?

– Наши отношения стали довольно натянутыми. До этого мы были совершенно счастливы.

– Вы состоите на учете у психиатра, мистер Роуз?

– Нет, и никогда не состоял.

– Стресс на работе, что-нибудь в этом роде?

– Ничего подобного.

– Журналистика – достаточно жесткий бизнес, разве нет?

Я кивнул. Линли и его любопытное круглое лицо начали вызывать во мне отвращение. В наступившей тишине я произнес:

– У меня есть веские основания полагать, что этот парень способен

стать опасным. Я обратился в полицию за помощью.

– Вот и правильно, – сказал Линли. – Я поступил бы точно так же. Пора уже, кажется, ужесточить законы, касающиеся подобных случаев. Значит, он стоит возле дома, а когда вы выходите, пристает к вам.

– Так и было. Последние дни он просто стоит там. Если я пытаюсь с ним заговорить, он уходит.

– Значит, фактически... – Он умолк и заглянул – или только сделал вид – в свои записи. Забормотал себе под нос: – Значит, преследование, ага... – Потом заинтересованно обратился ко мне: – А как обстоит дело с угрозами?

– Я выписал некоторые его высказывания. Они не слишком прямолинейны. Читать надо очень внимательно.

Дежурный инспектор Линли погрузился в чтение, и, пока глаза его были опущены, я вглядывался в его лицо. Гадливость вызывалась не бледностью, а распухшей нечеловеческой геометрией овала лица. Почти идеальный круг с пуговкой носа в центре дополнялся белым куполом лысины и изгибом жирного подбородка. А сам круг располагался на поверхности слегка деформированной сферы. Лоб выпирал, щеки вспучивались сразу же под маленькими серыми глазами, а продолжалась дуга синеватой гладкой выпуклостью между носом и верхней губой.

Он отбросил мои страницы на стол, сцепил пальцы на затылке, пару секунд изучал потолок, а потом взглянул на меня почти с жалостью.

– Если говорить о преследователях, мистер Роуз, то ваш Перри – божий одуванчик. Чего же вы хотите от нас? Чтобы мы его арестовали?

– Я хочу, чтобы вы осознали глубину его заблуждений и разочарование, которое становится все больше. Он должен понять, что ему не все позволено.

– Если следовать определению, данному в пятом пункте Свода общественного порядка, здесь нет ни угроз, ни оскорблений. – Линли заговорил быстрее. Ему хотелось побыстрее со мной распрощаться. – Никаких нарушений Гражданского кодекса тысяча восемьсот шестьдесят первого года. Мы даже не имеем права сделать ему предупреждение. Он любит своего Бога, любит вас, я вам искренне сочувствую, но он не нарушает закон. – Он снова поднял и отбросил мои бумажки. – Покажите мне, где именно он вам угрожает?

– Если внимательно прочесть его слова и осмыслить их логически, получится, будто он подразумевает, что можно найти, нанять кого-то, чтобы со мной расправиться.

– Слишком слабо. Взгляните теперь нашими глазами. Он не портит

вашу машину, не машет ножом у вас перед носом и не сыплет мусор на ваше крыльцо. Он даже ни разу не обозвал вас. Скажите, а вам с женой не приходило в голову пригласить его к себе и обсудить все за чашкой чая?

Я мысленно похвалил себя за выдержку.

– Послушайте, его случай – типичный. Синдром де Клерамбо, эротомания, преследование – называйте, как хотите. Я достаточно изучил этот вопрос. Все источники свидетельствуют об одном: когда он поймет, что не получит желаемого, он, скорее всего, перейдет к насилию. По крайней мере вы могли бы послать пару офицеров прогуляться вокруг его дома, чтобы он понял, что вы им заинтересовались.

Линли поднялся, но я упрямо продолжал сидеть. Он взялся за ручку двери. Его демонстративное спокойствие было разновидностью насмешки.

– В обществе, в котором мы живем или стремимся жить – не говоря уж о нехватке личного состава, – мы не имеем права посылать наряд к гражданину А только потому, что гражданин Б начитался книжек и решил, что ему угрожает опасность. И тем более мои люди не в состоянии находиться в двух местах одновременно, наблюдая за ним и защищая вас.

Пока я собирался ответить, Линли открыл дверь и вышел в коридор. Оттуда он добавил:

– Но вот что я сделаю. Где-то на следующей неделе пришлю к вам инспектора по гражданским делам. У него десятилетний опыт работы с проблемами населения, и уверен, он сможет дать какие-то полезные советы. – После этого он ушел, и я услышал его громкий голос уже из приемной, он обращался к тем парням в дутых куртках. – Жалуетесь? Вы двое? Шутите, да? Слушайте меня. Вы немедленно убираетесь отсюда, а я уж как-нибудь замну то дельце.

Я опаздывал на обед и поэтому быстро зашагал по улице прочь от участка, поглядывая через плечо, не едет ли такси. Я должен был чувствовать злость или беспокойство, но почему-то, получив у Линли отказ, я успокоился. Дважды я пытался заинтересовать полицию, больше мне беспокоиться незачем. Подарок для Клариссы оттягивал мне карман, и, наверное, это навело меня на мысли о ней и об утраченном счастье. Я не мог воспринимать всерьез ее слова, что между нами все кончено. Мне всегда казалось, что наша любовь должна длиться вечно. И теперь, торопясь по Харроу-роуд, благодаря подсказке инспектора Линли, я вспомнил ее предыдущий день рождения, который мы отмечали, не испытывая и десятой доли нынешних трудностей.

Подсказка заключалась в выражении «в двух местах одновременно», и память отсылала меня в раннее утро. Тогда я не стал будить Клариссу и

пошел ставить чайник. По пути, кажется, собрал с пола в коридоре письма и, выбрав из них поздравительные открытки, разложил их на подносе. Ожидая, пока чайник закипит, я просматривал текст радиопередачи, запись которой должна была состояться днем. Я так хорошо это помню, потому что тот материал впоследствии стал первой главой моей книги. Нет ли какого-нибудь генетического базиса у религии или мне просто нравится это предполагать? Если вера дает преимущества при естественном отборе, ничего определенного доказать нельзя, потому что это может происходить совершенно разными способами. К примеру, религия позволяет получить статус в обществе, особенно касте жрецов – вот вам социальные преимущества. А что, если она дарует силу противостоять напастям, дарит шанс выжить в катастрофе, которая сокрушит безбожника? Может быть, религия дает верующим страстную убежденность, животную силу самодостаточности?

Может быть, на группу она воздействует так же, как на отдельных индивидуумов, даря единство и идентичность, а также чувство, что ты и твои соратники правы, даже – и особенно – когда все вы заблуждаетесь. Но Бог на вашей стороне. Вдохновленные единством безумия, вооруженные кошмарной уверенностью, вы обрушиваетесь на соседнее племя, бьете и насилуете его до потери чувств и уходите, пылающие правотой и опьяненные победой, которую вам и обещали ваши боги. Повторите это пятьдесят тысяч раз за тысячелетие, и сложный набор генов, ответственных за беспочвенную убежденность, может стать доминирующим. Я был поглощен этими размышлениями. Потом вскипел чайник, я приготовил чай.

На ночь Кларисса заплела косу и завязала ее черной бархатной лентой. Когда я вошел с чаем, поздравительными открытками и свежей газетой, она распускала волосы, сидя на постели. Прекрасно лежать в одной постели с любимым человеком, но вернуться в кровать, хранящую ночное тепло, еще слаще. За чаем я провозгласил тост в ее честь, мы прочли открытки и занялись праздничным сексом. Кларисса весит килограммов на тридцать меньше меня, и иногда ей нравится с самого начала оказываться сверху. Она набросила на себя простыни, словно подвенечный шлейф, и неторопливо взобралась на меня верхом. В то утро мы затеяли игру. Я лежал на спине и притворялся, будто читаю газету. Пока она направляла меня, постанывая, вздрагивая и извиваясь, я изображал полное безразличие, переворачивал страницы, хмурил брови, будто бы из-за прочитанного. Ощущение, что ее игнорируют, доставляло ей небольшое мазохистское удовольствие: на нее не обращают внимания, ее будто бы и

нет. Аннигиляция! И тогда она получала уже осознанное удовольствие, отвлекая меня от безумств, происходящих в царстве людей, и погружая в мир более глубокий – мир, которым была она сама. Теперь уничтожению подлежал я, а также все, не связанное с ней.

В тот раз она, однако, не совсем достигла цели, потому что я был близок к состоянию, в котором, по словам Линли, не может находиться полицейский. Мне было очень хорошо с Клариссой, но в тот момент я читал статью о королеве. Она отправилась с визитом в город Йеллоунайф, это на краю северозападных канадских территорий – район размером почти с Европу с населением в пятьдесят семь тысяч, большинство из которых составляют пьяницы и бандиты. От движений Клариссы меня отвлек абзац, где говорилось об ужасной погоде в этом регионе, а именно два отрывочных предложения: «Внезапно снежный буран обрушился на футбольное поле на севере Йеллоунайфа. Из-за снега обе команды не смогли отыскать дороги в укрытие и замерзли до смерти».

– Ты только послушай, – обратился я к Клариссе. Но тут она посмотрела на меня, и до меня дошло. Я принадлежал ей.

Процесс чтения и восприятия информации задействует несколько отдельных, но частично совпадающих функций головного мозга, отдел же, отвечающий за секс, работает в это время на более низком уровне, который, с точки зрения эволюции, является более древним и наличествует также у бесчисленного количества организмов, не утрачивая в то же время высших функций – памяти, эмоции, фантазии. Я так хорошо запомнил то утро дня рождения Клариссы – открытки и разорванные конверты, разбросанные по кровати, проникающий меж занавесок яркий солнечный свет, – потому что один из небольших забавных эпизодов вернул меня в тот миг, когда впервые в жизни мне полностью удалось быть в двух местах одновременно. Кларисса возбуждала меня, я полностью осознавал это и наслаждался происходящим, но в то же время был поражен трагедией, крившейся за отрывком из газетной статьи, – жестокий ветер в разгар игры разметал по полю игроков, и они умирают прямо в бутсах на невидимой границе площадки. В момент совокупления животные более уязвимы, но со временем естественный отбор доказал, что для достижения репродуктивного успеха лучше не отвлекаться. Лучше пожертвовать съеденной во время экстаза случайной парой, чем хоть на йоту ослабить страстное желание размножиться. Но на какие-то секунды в финале я одновременно и здраво смог испытать два основных и этически противоположных удовольствия – от чтения и от секса.

– Ты не думаешь, – позже в ванной спросил я у Клариссы, – что я

неким образом олицетворяю эволюционный прорыв?

Кларисса – исследователь Китса – сидела голышом на пробковой скамеечке и красила ногти на ногах – частичка праздничного ритуала.

– Нет, – сказала она, – просто стареешь. И кроме того, – и тут она изобразила голос всем известного радиоведущего, – эволюционный скачок, видообразование, есть событие, которое можно оценить только ретроспективно.

Внутренне я похвалил ее за владение терминологией, и когда передо мной остановилось такси, я остро ощутил, как не хватает мне нашей былой совместной жизни и как хочется вернуть прежнюю любовь, радость и простое взаимопонимание. Кларисса считает меня психом, в полиции меня приняли за дурака, и ясно лишь одно: эту задачу – вернуть нас к прежней жизни – мне решать одному.

Я опоздал на двадцать минут. В обеденное время это заведение пользовалось большой популярностью – в воздухе стоял гул голосов, и вошедшему казалось, что он попал в шторм. Ресторанчик словно был единственным интересным местом – и часом позже им и оказался. Профессор уже сидел за столиком, а Кларисса еще стояла, и я еще с порога понял, что она все в том же приподнятом настроении. Все вокруг нее кружилось. Один официант, стоя на коленях, будто молясь, у ее ног, закреплял ножку стола, второй нес ей другой стул. Увидев меня, она бросилась ко мне через весь зал и, взяв за руку, как слепого, повела к столу. Я списал ее кокетливость на праздничное возбуждение, ведь, кроме ее дня рождения, у нас был еще один повод поднять бокалы. Профессор Джослин Кейл, крестный отец Клариссы, был утвержден на почетную должность в проекте «Геном человека». Прежде чем сесть, я поцеловал ее. В последние дни наши языки ни разу не соприкоснулись, но теперь это произошло. Джослин приподнялся и пожал мне руку. В этот миг принесли шампанское в ведерке со льдом, и наши голоса слились с общим шумом. Ведерко отбрасывало отсвет-ромб на белую скатерть, в высоких ресторанных окнах сияли голубые прямоугольники неба, видного меж домов. От поцелуя у меня возникла эрекция. В памяти осталось лишь хорошее настроение, ясность и ресторанный шум. В памяти осталось, что все блюда, которые нам подали вначале, оказались красного цвета: «бресаола» – толстенькие язычки жареных перцев поверх козьего сыра, и «радикчо» – фигурно нарезанная редиска в белой фарфоровой чаше. Вспоминая, как мы нагибались друг к другу, пытаясь перекричать шум, мне казалось, я вспоминаю что-то, случившееся под водой.

Джослин извлек из кармана маленький сверток, упакованный в изысканную синюю ткань. Наш стол погрузился в воображаемую тишину, пока Кларисса разворачивала подарок. Может быть, именно в тот момент я посмотрел налево, за соседний столик. Мужчина, которого, как я узнал потом, звали Колин Тэп, сидел вместе со своей дочерью и отцом. А может, я заметил их позже. Если мой взгляд и скользнул тогда по одинокому посетителю, сидевшему спиной к нам, в двадцати шагах, то в памяти это не отложилось. В свертке оказалась черная коробочка, а в ней, среди бархатных складок, золотая брошь. По-прежнему не произнося ни слова, Кларисса достала брошь и продемонстрировала нам на ладони.

Две золотые, скрученные двойной спиралью ленточки. Между ними крошечные серебряные ступеньки группами по три, символизирующие пары оснований – буквы четырехзначного алфавита, сменяющимися тройками которых написаны все живые существа. На спиральях выгравированы сферы, относящиеся к двадцати аминокислотам, на сферах нанесены трехбуквенные кодоны. Ярко освещенная брошь в руке Клариссы выглядела не просто как изображение. Она могла быть вещью, готовой преобразовывать цепи аминокислот в протеиновые молекулы. Прямо сейчас, лежа на ее ладони, она, казалось, могла сотворить еще один подарок. Когда Кларисса выдохнула имя Джослина, на нас опять нахлынули волны ресторанного шума.

– Боже мой, какая красота! – воскликнула Кларисса и поцеловала его.

Его светлые желто-голубые глаза увлажнились. Он сказал:

– Это брошь Джилиан. Ей было бы приятно знать, что она у тебя.

Мне не терпелось вручить свой подарок, но мы еще были околдованы брошью. Кларисса приколотла ее к своей серой шелковой блузке.

Вспомнил бы я тот разговор, если бы не знал, что за ним последует?

Мы принялись шутить, что членам проекта «Геном» подобные украшения будут раздавать просто горстями. А потом Джослин заговорил об открытии ДНК. Возможно, в этот момент я обернулся, чтобы попросить у официанта воды, и заметил тех двух мужчин и девочку. Мы выпили бутылку шампанского и разделались с закуской-ассорти. Что мы заказывали потом, я не помню. Джослин принялся рассказывать нам историю Иоганна Мишера^[14], швейцарского химика, в 1868 году идентифицировавшего ДНК. В истории науки этот случай считается одним из величайших упущенных шансов. Мишер доставал в ближайшей больнице пропитанные гноем бинты (в гное содержится большое количество белых кровяных телец, пояснил Клариссе Джослин). Его интересовали химические процессы в клеточном ядре, и он обнаружил в нем фосфор, что оказалось невероятным, так как шло вразрез с текущими представлениями. Находка экстраординарная, но доклад Мишера пролежал два года у его учителя, так долго проверявшего результаты опытов студента.

Я отвлекся от разговора, не потому что заскучал, хотя судьба Мишера и была мне известна, – расслабившись после визита в полицию, я был беспокоен и нетерпелив.

Мне хотелось пересказать свою беседу с инспектором Линли, добавив в нее немного остроты, чтобы повеселить компанию, но я понимал, что это точно приведет к новым спорам с Клариссой. За соседним столиком

мужчина, которому, как и мне с некоторых пор, пришлось сдвинуть очки на кончик носа, чтобы разглядеть буквы, помогал девочке выбрать что-нибудь в меню. Девочка нежно прижималась к его плечу.

Джослин тем временем наслаждался тройным превосходством – возраста, высокого положения и лучшего дарителя подарков – и продолжал рассказ. Мишер не отступал. Он набрал команду, чтобы заниматься, как он выражался, химией ядерной кислоты. А затем обнаружил вещества, создавшие тот самый четырехбуквенный алфавит, на котором написано все живое, – аденин, цитозин, гуанин и тимин. Но ничего не произошло. И чем больше проходило времени, тем более это странно. Открытые Менделем закономерности передачи наследственных признаков в целом были приняты обществом, в клеточном ядре обнаружили хромосомы и предположили, что они являются носителями генетической информации. Уже было известно, что ДНК находится в хромосомах, и Мишер описывал происходящие с ними химические процессы в письме к дяде, написанном в 1892 году, он предполагал, что ДНК является кодом жизни, так же как алфавит является кодом языка и понятий.

– Открытие было у них под носом, – произнес Джослин. – Но они не разглядели, не захотели разглядеть его. Проблема, безусловно, в том, что химики...

Тяжело говорить, перекрывая шум. Мы подождали, пока он отопьет воды. Рассказ предназначался для Клариссы, был эффектным дополнением к подарку. Пока Джослин переводил дух, за моей спиной послышался шорох, и мне пришлось подвинуть стул, чтобы пропустить девочку. Она направлялась к туалетам. Когда я снова вспомнил о ней, она уже сидела на своем месте.

– Так вот, химики. Могут все, почти как боги. Деятнадцатый век оказался для них благодатным. Они заработали авторитет, а вместе с ним и непробиваемую броню. Взять хотя бы Фобуса Ливайна из Рокфеллеровского института. Он был абсолютно уверен, что ДНК – скучная бесполезная молекула, содержащая случайные последовательности тех четырех букв, АЦГТ. Он не придавал ей значения, а потом, как это водится у людей, стал просто верить в это, глубоко верить. Он знал то, что знал, и молекула была ни при чем. Никто из молодежи не мог обойти такого препятствия. Идею пришлось отложить на долгие годы, до появления в двадцатые годы работы Гриффита по бактериям. Ее-то и подхватил в Вашингтоне Освальд Эвери – Ливайна к тому времени уже не было, само собой. Работа Освальда затянулась надолго, до самых сороковых. Потом Александр Тодд изучал в Лондоне фосфатные связи в

сахаре, потом были пятьдесят второй и пятьдесят третий годы, Морис Уилкинс с Розалиндой Франклин и Крик с Уотсоном. Знаете, что сказала бедная Розалинда, когда они показали ей построенную модель молекулы ДНК? Она сказала: это настолько красиво, что просто не может оказаться неправдой...

Быстрое перечисление фамилий и его конек, красота в науке, погрузили Джослина в безмолвное размышление. Он комкал салфетку. Ему было восемьдесят два. Он знал их всех как студент или как коллега. А Джилиан работала с Криком после первого серьезного прорыва по адапторным молекулам и умерла, как и Франклин, от лейкемии.

Я пару секунд помедлил, после того как Джослин дал мне отличную подсказку. Сунул руку в карман пиджака и, не удержавшись, произнес слова, обычно написанные на коробках с шоколадом:

– В прекрасном – правда, в правде – красота...^[15]

Кларисса улыбнулась. Наверное, она уже догадывалась, что получит в подарок Китса, но о том, что находится в ее руках под простой оберточной бумагой, не могла и мечтать. Даже не успев развернуть до конца, она узнала эту книгу и ахнула. Девочка за соседним столиком повернулась и изумленно уставилась на нас, отцу даже пришлось похлопать ее по руке. Издание в тускло-коричневой обложке, плохо сохранившееся, с бурыми пятнами, слегка пострадавшее от сырости. Первое издание его первого сборника «Стихи» 1817 года.

– Какие подарки! – произнесла Кларисса. Она встала и обвила руками мою шею. – Такая книга стоит не одну тысячу... – Потом она прижалась к моему уху и прошептала, как в старые добрые времена: – Гадкий мальчишка, потратил столько денег. Теперь придется тебе до изнеможения заниматься со мной любовью.

Вряд ли она имела это в виду, но я подыграл, произнеся:

– Согласен, если это доставит тебе удовольствие. – Конечно, во всем виновато шампанское, и она просто выражала благодарность, но мне все равно было очень приятно.

Через день-другой возникает искушение придумать или дорисовать какие-то детали, относящиеся к соседнему столику, заставить память выдать то, чем она не владела, но я и правда видел, как тот мужчина, Колин Тэп, в чем-то убеждал своего отца, ласково сжимая его локоть. Кроме того, все, что я узнал позже, переплелось с моими ощущениями того времени. Тэп оказался двумя годами старше меня, его дочери было четырнадцать, а отцу семьдесят три. В тот момент я не забивал себе голову предположениями об их возрасте, мое внимание концентрировалось в

пределах нашего столика, и нам было весело, хотя каким-то образом я выстроил отношения между нашими соседями – где-то на дне сознания, мельком, на бессловесном, довербальном языке сиюминутных мыслей, который лингвисты называют «ментализмом». Девочку я разглядел, хоть и вскользь. Она сидела выпрямившись – поза, присущая некоторым подросткам, попытка показать миру свое самообладание, но обнаруживая этим полную незащищенность. Смуглая кожа, черные волосы острижены коротко, на шее светлая полоса – видимо, постриглась недавно. А может быть, все эти детали я разглядел позже, в суматохе или даже после нее? Вот еще один пример, как память создает неразбериху, внося информацию задним числом: я обнаружил, что, представляя диспозицию, я включаю в нее обедающего в одиночестве мужчину, сидящего к нам спиной. Сначала я не видел его, но уже не мог исключить его из последующих реконструкций.

Тем временем Кларисса вернулась на свое место, и за нашим столиком возобновился разговор о притеснениях молодых ученых, о том, как угнетают или как-то препятствуют им люди старшего поколения, родители, учителя, наставники или кумиры. Отправной точкой послужили отношения Иоганна Мишера и его учителя, Хопп-Сейлера, зарубившего публикацию об обнаружении фосфора в клеточном ядре. Сейлер являлся редактором журнала, куда Мишер отдал на рассмотрение свои статьи. От этого эпизода – а позже у меня была возможность восстановить ход нашего разговора в обратном порядке, – от Мишера и Хопп-Сейлера мы перешли на Китса и Вордсворта.

Теперь нашим источником стала Кларисса, хотя помимо собственной области Джослин знал понемногу практически обо всем, и из биографии, составленной Гиттингсом, ему был известен рассказ о том, как молодой Ките навел на поэта, которого боготворил. Кларисса когда-то уже рассказывала мне об этой встрече поэтов. В конце 1817 года Китс жил в гостинице «Лиса и гончие» неподалеку от Бокс-Хилл на Северных Холмах, где и закончил свою длинную поэму «Эндимион». Всю проведенную там неделю он бродил по холмам в приливе творческого вдохновения. Ему был двадцать один год, он написал длинную, серьезную и прекрасную поэму о влюбленном и к моменту возвращения в Лондон испытывал душевный подъем. Он был вне себя от радости, узнав новость: его кумир, Уильям Вордсворт, в городе. Китс посылает ему сборник своих «Стихов» с посвящением «У. Вордсворту, с почтительным поклоном от автора». (Вот бы подарить этот экземпляр Клариссе. Книга находится в библиотеке Принстонского университета, и многие страницы, по ее словам, даже не разрезаны.) Китс вырос на поэзии Вордсворта. «Прогулку» он называл

одной из «трех вещей, которые останутся в Вечности». Именно у Вордсворта перенял он восприятие поэзии как священного призвания, благороднейшего из устремлений. Тогда он уговорил своего друга, художника Хейдона, договориться с Вордсвортом о встрече, и из его студии в Лиссон-Гроув они вместе отправились на Куин-Энн-стрит навестить великого поэта. В своем дневнике Хейдон записал, что Китс пребывал в «величайшей, светлейшей, неподдельнейшей радости по поводу предстоящей встречи».

В этот период жизни – в сорок семь лет – Вордсворт имел дурную славу брюзги, однако Китса он принял вполне дружелюбно и, через пару минут разговора на общие темы, спросил, над чем тот работает. Хейдон выскочил вперед и, ответив за Китса, стал уговаривать его прочесть гимн Пану из «Эндимиона». И Китс принялся расхаживать перед великим поэтом, декламируя «как обычно, нараспев, очень трогательно...». Тут Кларисса, преодолев ресторанный гомон, процитировала:

Останься необорною твердыней
Высоким душам, жаждущим пустыни,
Что в небо рвутся, в бесконечный путь,
Питая разум свой... [\[16\]](#)

А когда страстный юноша закончил чтение, Вордсворт, будучи, очевидно, не в силах и дальше выносить обожание молодого человека, произнес в тишине шокирующий вердикт, глухо промолвив: «Прекрасный образчик язычества», – что, по словам Хейдона, выглядело «бесчувственно и недостойно его высокого гения по отношению к такому обожателю, как Китс, – и Китс принял это близко к сердцу и никогда ему не простил».

– Но стоит ли так уж доверять этой истории? – спросил Джослин. – Кажется, я читал у Гиттингса, что не стоит.

– Никто и не верит. – Кларисса начала перечислять доводы.

Если бы в тот момент я встал и обернулся к выходу, то увидел бы пятьдесят квадратных метров, заполненных посетителями, и двух вошедших мужчин, беседующих с метрдотелем. Один из них был высокого роста, но не думаю, что я заметил это тогда. Все это я узнал позже, но память странным образом позволяет мне представить, будто я встал и увидел собственными глазами переполненный зал, высокого мужчину и метрдотеля, который кивает и машет рукой в направлении нашего столика. И что же теоретически я мог сделать, чтобы заставить Клариссу, Джослина

и незнакомых людей за соседним столиком бросить свои тарелки и устремиться вместе со мной вверх по лестнице, чтобы найти в лабиринте дверей запасной выход на улицу? Бессонными ночами я снова и снова умолял их бежать со мной. Послушайте, говорил я нашим соседям, вы меня совсем не знаете, но я знаю, что должно произойти. Я призрак из будущего. Случилась ошибка, все должно было быть по-другому. Мы еще можем все изменить. Бросайте свои вилки и бегите за мной, быстро! Прошу вас, доверьтесь мне. Только доверьтесь. Бежим!

Но они не видят и не слышат меня. Они продолжают есть и беседовать. Так же, как и я.

Я произнес:

– Но сюжет продолжает жить. Неделикатность, вошедшая в историю.

– Да уж, – горячо согласился Джослин. – Пусть это неправда, но она нам подходит. Своего рода миф.

Мы взглянули на Клариссу. Она обычно немногословна насчет того, что знает точно. Несколько лет назад на одной вечеринке я в пьяном виде становился на колени, чтобы заставить ее прочесть по памяти «La Belle Dame Sans Merci». Но сегодня у нас был праздник, мы пытались все забыть, поэтому самым лучшим было просто продолжать разговор.

– Это неправда, которая помогает узнать правду. Высокомерие Вордсворта доводило его до тошноты по отношению ко всем остальным писателям. Гиттингс очень точно заметил, что он, как и все мужчины, тяжело переживал возрастной кризис сорока пяти лет. Когда ему исполнилось пятьдесят, Вордсворт успокоился, просветлился, и окружающие смогли наконец свободно вздохнуть. Только Китс уже умер. Каждая история о юном гении, отвергнутом корифеем, по-своему пикантна. Вспомнить хотя бы Человека из «Декки», Который Не Подписал Контракт с «Битлз»^[17]. Прикрываясь историей, Бог мстит за ошибки...

В тот момент двое мужчин, наверное, пробирались к нам, лавируя между столиками. Точно не знаю. Вспоминая последние полминуты, две вещи я знаю наверняка. Первое – официант принес нам шербет. Второе – я отвлекся, предавшись мечтам. Со мной это бывает. Как и было сказано выше, мечты не оставляют следа, они ведь «в небо рвутся». Но я столько раз возвращался, вернулся и в этот раз, зацепившись за предшествовавшую фразу Клариссы: «Только Китс уже умер».

Эти слова, *memento mori*^[18], унесли меня прочь. Я ненадолго исчез. Я видел их, Вордсворта, Хейдона, Китса, в доме Монктона на Куин-Энн-стрит и в мельчайших подробностях представлял себе их чувства и мысли,

и мебель, и одежду, скрип стульев и половиц, голоса, отзывающиеся в их груди, задетое самолюбие, знал, что чувствуют пальцы их ног в ботинках и что лежит у них в карманах, каждый фрагмент недавнего прошлого и ближайшего будущего, видел над ними шаткую хронологическую таблицу, фиксирующую их жизненный путь, – ощущал столь же ярко и убедительно, как звон тарелок и ресторанный гул, и все это ушло, как Логан, сидящий на траве.

Мне потребовалась минута, чтобы описать ощущение, длившееся не более двух секунд. Очнувшись от грез, я компенсировал свое отсутствие, поведав Клариссе и Джослину свою историю об отвергнутом гении. Муж моей приятельницы-физика, уже вышедший на пенсию издатель, рассказывал, как в пятидесятые годы он отказался публиковать некий роман «Чужаки изнутри» (к тому моменту посетители, вероятно, находились в десяти шагах от нашего столика. Думаю, они нас вообще не видели). Он понял свою ошибку лишь тридцать лет спустя, наткнувшись на какую-то папку в своем рабочем столе. Тогда он не запомнил имя автора на титульном листе – через его руки проходило несколько десятков рукописей в месяц – и не прочел книгу, когда она наконец вышла. По крайней мере, не сразу. Автор, Уильям Голдинг, изменил название на «Повелитель мух» и выбросил длинную, скучную первую главу, на которой сломался мой приятель.

Кажется, я собирался подытожить, что время оберегает нас от худших ошибок, – но Кларисса и Джослин не слушали меня. Я тоже уловил какое-то движение сбоку. Проследив за их взглядами, я обернулся. У соседнего столика остановились двое мужчин, чьи лица, казалось, пострадали от ожогов. Их кожа была безжизненно розовой, как протез, как кукольные лица или медицинский пластик, такой кожи у людей не бывает. Эмоции на лицах отсутствовали, словно у роботов. Уже потом мы узнали, что это были латексные маски, но в тот миг они шокировали нас, прежде чем успели что-либо сделать.

Появление около нас официанта с десертом в металлических вазочках ненадолго сгладило ситуацию.

Оба мужчины были одеты в черные пальто, придававшие им сходство со священниками. В их спокойствии была какая-то ритуальность. Мое мороженое было с лаймом, бледно-зеленого цвета. Я уже взял в руки ложечку, но еще не пустил ее в ход. Наш столик беззастенчиво разглядывал пришельцев.

Они просто стояли и глядели сверху вниз на наших соседей, которые, в свою очередь, выжидающе, озадаченно смотрели на них. Девочка

переводила взгляд с отца на незнакомцев. Старик отложил вилку, будто хотел что-то сказать, но не произнес ни слова. Передо мной завертелся, разматываясь, клубок возможных объяснений: студенческий протест; коммивояжеры; этот человек, Колин Тэп, – врач или юрист, а это его клиенты; какая-то новая версия семейных отношений – сумасшедшие родственники пришли, чтобы поставить его в неловкое положение. После паузы посетители вокруг нас снова заговорили. Когда тот, что повыше, достал из кармана какую-то черную палочку, я склонился к версии о родственнике. Но кем был его спутник, который теперь медленно поворачивался, осматривая помещение? Наш столик он пропустил, мы были слишком близко. Взгляд его глаз, словно поросячьих на этой искусственной коже, ни разу не встретился с моим. Высокий мужчина приготовился объявить приговор и направил свою палочку на Колина Тэпа.

И сам Тэп вдруг понял все на секунду раньше нас. На его лице мы прочли то, что не разобрали в приговоре. Недоумение, застывший ужас, невозможность произнести даже слово – на это не было времени. Бесшумная пуля пробила его белую рубашку в районе плеча, сбросила его со стула и ударила об стену.

Огромная скорость проникновения вызвала сильный выплеск, кровавый дождь, брызнувший на нашу скатерть, наши десерты, наши руки, на нас самих. Мой первый импульс был простой самозащитой: я не поверил тому, что увидел. Основа любого клише правдива – я не поверил своим глазам. Тэп рухнул прямо на стол. Его отец не пошевелился, ни один мускул не дрогнул на его лице. Что касается девочки, она сделала единственно возможное в этой ситуации – упала в обморок, ее сознание отключилось от бесчеловечности происходящего. Она качнулась на стуле в сторону Джослина, который выставил руку – рефлекс старого спортсмена, – и, хотя предотвратить падение было уже невозможно, он поймал ее за плечо, и она не ударилась головой.

Не дожидаясь, пока она упадет, человек снова поднял пистолет, прицелился Тэпу прямо в макушку и, без сомнения, убил бы его. Но именно в этот момент обедавший в одиночестве мужчина с криком, каким-то собачьим визгом, вскочил и ухитрился преодолеть пространство как раз вовремя, чтобы дотянуться вытянутой рукой до пистолета, поэтому вторая пуля ударила куда-то высоко в стену. Даже если он коротко постригся, как мог я не узнать Перри?

Никто за нашим столом не мог ни говорить, ни двигаться. Двое мужчин быстро направились к выходу. Высокий на ходу убирал пистолет и глушитель в карман. Я не видел, как Перри ушел, должно быть, выскочил в

другую дверь или через пожарный выход. Только два столика были очевидцами происшествия. Был, кажется, вскрик, а потом паралич. Дальше никто ничего не слышал. Разговоры, стук приборов по тарелкам тупо продолжались.

Я взглянул на Клариссу. Ее лицо было перекошено. Собираясь что-то сказать, я вдруг понял, осознал все, в той самой нейронной вспышке довербального мышления, которое постигает одновременно отношения и структуру и знает связь между понятиями лучше, чем сами понятия. «Необорная твердыня». Наши два столика – состав обедающих, их количество, пол, разница в возрасте. Но откуда Перри узнал?

Это была ошибка. Ничего личного. Просто контракт, и он был провален. Там должен был быть я.

Но я ничего не почувствовал, ни малейшего порыва что-то объяснить. Еще не изобрели чувства, не заработала мысль, еще не было паники и вины, никакой. Так мы и сидели, не двигаясь, безнадежно шокированные, а ресторанный гул вокруг нас стихал по мере того, как во все стороны распространялось значение нашей тишины. К нам спешили двое официантов, их лица застыли от удивления, и я знал, что история получит продолжение, только когда они доберутся до нас.

Второй раз за этот день и второй раз за всю жизнь я сидел в полицейском участке – на этот раз на Боу-стрит, – ожидая, когда меня вызовут для дачи показаний. В статистике подобное совпадение называется случайным группированием – удобный способ лишить его значимости. Не считая Клариссы с Джослином, в комнате находилось еще семеро свидетелей – четыре посетителя, сидевших за двумя соседними столиками, два официанта и метрдотель. Мистера Тэпа собирались допрашивать завтра в больнице. Его отец и дочь были еще слишком шокированы, чтобы отвечать на вопросы.

Прошло лишь несколько часов, но мы уже попали в заголовки вечерних газет. Один из официантов сходил за газетой, мы сгрудились вокруг него и с неожиданным возбуждением прочли о собственных переживаниях, выраженных в типичных клише, типа «возмутительный случай в ресторане», «кошмар среди бела дня» и «реки крови». Метрдотель указал на фразу, где я был назван «известным писателем научно-популярного жанра», Джослин – «видным ученым», а Кларисса всего лишь «очаровательной спутницей». Наклоном головы метрдотель профессионально выразил нам свое почтение. Из газеты мы узнали, что Колин Тэп был помощником министра по торговле и промышленности. Он был бизнесменом, недавно выдвинувшимся из рядовых членов парламента и предположительно имел «обширные связи, а также и многочисленных врагов на Ближнем Востоке». В статье говорилось также и о «бесстрашном случайном посетителе», который спас жизнь Тэпу и таинственным образом исчез. В газете были и второстепенные заметки о «разгуле фанатиков» в Лондоне, о доступности оружия, а также комментариев по поводу постепенного исчезновения «той невинной жизни без насилия, к которой мы привыкли». Это заключение казалось таким знакомым и в то же время ужасно сиюминутным. Будто бы эту тему включили в план давным-давно, и события, свидетелями которых мы стали, произошли, только чтобы дать повод для написания статьи.

Свидетельскими показаниями занимались двое детективов, но тем не менее какое-то время у них ушло на подготовку. Взволнованные прочитанным, мы вернулись на свои места, и над нами разлилась плотная тишина. За частыми зевками следовали усталые улыбки, означающие, что все понимают, насколько этот процесс заразителен. Полицейские наконец-

то собрались с мыслями и пригласили Клариссу и Джослина. Она вышла через двадцать минут и села рядом со мной дожидаться крестного. Она вынула Китса из обертки, чтобы понюхать страницы. Потом она взяла мою руку и, сжав ее, прошептала мне на ухо:

– Чудесный подарок. – А потом: – Слушай, Джо, ты просто расскажи им все, что видел, ладно? Не начинай свою обычную песню.

По какой-то брошенной ею фразе я уже понял, что она не узнала Перри. Сейчас я не собирался с ней спорить, я рассчитывал только на себя. Поэтому я просто кивнул и спросил:

– Ты отвезешь Джослина?

– Да. И буду ждать тебя дома.

Вышел Джослин, мы пожали друг другу руки, и они уехали. Я остался ждать, размышляя, что скажу полицейским. Вышел метрдотель, зашел один из посетителей, а затем один из официантов. Меня вызвали предпоследним, и вежливый молодой человек, представившийся детективом Уоллесом, пригласил меня в кабинет.

Прежде чем сесть, я произнес заготовленную речь:

– Я должен немедленно заявить, что знаю, что именно произошло. Пуля, попавшая в мистера Тэпа, предназначалась мне. Вмешавшийся в происходящее посетитель, сидевший в одиночестве за столиком, – это человек, который меня преследовал. Его фамилия Перри. Сегодня с утра я уже жаловался на него полиции. Пожалуйста, свяжитесь с инспектором Линли из участка на Харроу-роуд. Я говорил ему даже то, что Перри может нанять кого-то, чтобы со мной расправиться.

Пока я это говорил, Уоллес сосредоточенно глядел на меня, хотя, на мой взгляд, и без особого удивления. Когда я закончил, он указал мне на стул:

– Понятно. Начнем с самого начала.

Он принялся записывать мое имя, адрес и мой рассказ о случившемся, с того момента, как я вошел в ресторан. Дознание велось с необходимым педантизмом, и Уоллес время от времени прерывал меня не имеющими прямого отношения к делу вопросами: он хотел знать, о чем мы говорили за столом, в какой-то момент он просил меня охарактеризовать настроение моих спутников, расспрашивал, что мы ели, и попросил оценить качество обслуживания. Дважды он спрашивал, слышал ли я крики Перри или мужчин в пальто. Когда мы все выяснили, он прочел вслух мои показания, голосом выделяя каждое предложение, как будто это были пункты схемы контрольного испытания. Мне немедленно захотелось отказаться от авторства этой прозы. Он дошел до фразы «неподалеку от нас за столиком в

одиночестве обедал мужчина, в котором я узнал...». Тут я прервал его:

– Простите. Вы меня не так поняли.

– Вы его не заметили?

– Заметил, но сначала не понял, кто это.

Уоллес нахмурился.

– Но вы столько раз видели его, когда он стоял у вашего дома, и все прочее.

– Он подстригся и, кроме того, сидел к нам спиной.

Уоллес сделал исправление и дочитал до конца. Когда я расписывался, он сказал:

– Если вы не возражаете против пребывания в участке, мистер Роуз, я хотел бы через какое-то время продолжить нашу беседу.

– Я не возражаю против пребывания в участке, – произнес я. – По городу ходит человек, который хочет меня убить.

Уоллес кивнул и улыбнулся, точнее, слегка растянул сомкнутые губы.

Все очевидцы произошедшего в ресторане разошлись, и теперь мне пришлось ждать в приемной вместе с группой разгневанных американских туристов, у которых, как я понял, украли багаж из автобуса возле гостиницы. Там же, но чуть поодаль сидела и молодая женщина. Она качала головой, отгоняя от себя какие-то мысли, и безуспешно пыталась сдержать слезы.

Пока со мной была Кларисса, я принял решение не напирать на полицию слишком сильно. Достаточно и фактов. Моя предыдущая жалоба подшита к делу, сцена в ресторане является безусловным подтверждением. Перри должны были выдвинуть обвинение в покушении на убийство, и пока этого не произошло, я нуждался в защите.

Теперь, когда из всех свидетелей остался я один, возбуждение угасло, и я почувствовал себя одиноким и уязвимым. Перри был повсюду. Я позаботился о том, чтобы сесть лицом к двери. И подальше от единственного окна. Каждый раз, когда кто-то входил, у меня холодело под ложечкой. Паранойя нарисовала мне, как он стоит напротив выхода из участка в окружении тех мужчин в пальто. Я встал, подошел к выходу и выглянул на улицу. Не обнаружив его, я не испытал ни облегчения, ни удивления. Такси и обычные автомобили доставляли толпы зрителей на вечернюю оперу. Было примерно семь пятнадцать. Время свернулось в петлю. Счастливые люди, спешившие мимо меня домой, в бары и кафе, не ощущали свободы, которой они были благодетельствованы и которой был лишен я: они ничем не обременены и никто не хотел их убить.

Одной моей приятельнице ошибочно поставили смертельный диагноз,

и как-то она рассказала мне об одиночестве, навалившемся на нее, когда она вышла из кабинета врача. Сочувствие друзей лишь подчеркивало разницу в их судьбах. В ее жизни уже умирали люди, и она прекрасно себе представляла, что последует за ее смертью. Воды сомкнутся над ее головой, друзья почувствуют утрату, а затем начнут успокаиваться, мудрее взглянут на вещи, и чередра рабочих дней наполнит их жизнь. То же чувствовал и я, возвращаясь на свое место в полицейском участке. Не только жалость к себе, хотя и ее тоже, скорее я погрузился в свои размышления, да так, что все остальное – раздраженные туристы, печальная девушка – оказалось словно за толстой стеклянной перегородкой. По дороге в приемную мои мысли хаотично перемещались по своему маленькому аквариуму: никто не ходит с таким грузом, как мой; если бы я только мог обменять свою ситуацию на билет в оперу, даже на украденную сумку, на все, что бы ни расстраивало ту девушку. Я чуть не столкнулся с Уоллесом, который пошел меня искать. На этот раз он был уже менее любезен и более взбудоражен.

– Нам сюда, – сказал он и провел меня назад по коридору в свой кабинет. Садясь, я с удовольствием отметил на столе несколько отправленных факсом листков с заметками инспектора Линли.

Уоллес заинтересованно смотрел на меня. Он больше не собирался записывать свидетельские показания.

– Итак. Я переговорил с инспектором Линли.

– Это хорошо. Теперь вы имеете полное представление.

Он улыбнулся. Почти дерзко.

– Мы тоже так думаем. Вряд ли вам это понравится, мистер Роуз, но я буду просить вас повторить ваши показания.

– Показания? С какой стати?

– Давайте начнем сначала. В ресторан вы пришли последним. Перечислите мне ваши перемещения в то утро, начиная, скажем, часов с девяти.

Возможно, я развивался медленнее, чем хотелось бы, но, когда мне было уже хорошо за сорок, я понял, что необязательно подчиняться требованиям только потому, что они выглядят разумными или разумно изложены. Возраст – великий учитель неповиновения. Можно быть самим собой и отвечать «нет». Я скрестил руки на груди и притворно улыбнулся. Мой отказ был дружелюбным.

– Мне очень жаль. Мне нечего добавить к сказанному. Вначале я должен знать, что вы собираетесь делать.

– Мисс Меллон ушла на работу примерно в восемь тридцать? Или в

девять?

– Вы послали машину на Фрогнал-лейн?

– Давайте по порядку, ладно? Чем вы занимались после того? Говорили по телефону? Работали над статьей?

Я сделал над собой усилие, чтобы не повысить голос.

– Мне кажется, вы не понимаете. Этот человек опасен.

Уоллес просматривал лежащие перед ним бумаги – заметки Линли и его собственные, – бормоча:

– Где-то тут у меня это было.

– Он не остановится после одной неудачной попытки. Мне хотелось бы верить, что вы делаете больше, чем просто записываете уже слышанные показания.

– Нашел, – жизнерадостно объявил Уоллес и выудил половинку разорванного листа.

Я контролировал свой голос.

– До тех пор пока вы не назовете чистым совпадением, что человек, на которого я подал официальную жалобу, в тот же день оказался за соседним столиком, в то время как...

– Китс и Вордсворт? – спросил Уоллес.

Я был моментально сбит с толку. В его устах эти имена звучали как имена подозреваемых, двух головорезов, собутыльников из местного бара.

– Вы говорили о них за обедом.

– Да...

– Один из них унизил другого, правильно? Кто кого?

– Вордсворт унизил Китса – так, по крайней мере, звучит эта история.

– Но на самом деле было не так?

Я вышел из себя.

– Видите ли, единственный источник, на который мы можем полагаться, ненадежен. – Теперь я разглядел, что на той половинке листка был какой-то пронумерованный список.

Он сказал:

– Все это очень странно.

– В смысле?

– Ну, знаете, люди с высшим образованием, такие как вы, писатели и так далее. Всегда хранят журналы, книги. Кому, как не вам, казалось бы, связно излагать факты.

Я промолчал. От меня чего-то добивались. Лучше дать ему шанс добиться этого без сопротивления. Уоллес сверился со своим списком.

– Вот послушайте, – сказал он, – какая интересная штука получается.

Пункт первый: мистер Тэп со своими спутниками прибыл через полчаса после вас... – Он поднял палец, чтобы предупредить мои возражения. – Так сказал ваш профессор Кейл. Пункт второй, также со слов профессора: в туалет ходил сам Тэп, а не его дочь. Пункт третий: профессор Кейл утверждает, что не видел никакого одиночного посетителя, сидевшего неподалеку от вас. А мисс Кларисса Меллон говорит, что кто-то сидел, но она никогда его прежде не видела. В этом она была совершенно уверена. Пункт четвертый. Мисс Меллон: когда те двое мужчин подошли к столику Тэпа, в руках одного из них уже был пистолет. Пункт пятый следует из заявлений всех свидетелей, кроме вас: один из мужчин произнес что-то на иностранном языке. Трое считают, что на арабском, один – на французском, остальные не уверены. Ни один из тех троих не владеет арабским. Человек, назвавший французский, не говорит ни по-французски, ни на каком-либо другом языке. Шестое...

Уоллес раздумал озвучивать шестой пункт. Он сложил листок и убрал его в нагрудный карман. Упершись локтями в стол, он нагнулся ко мне и произнес доверительно, с толикой жалости:

– Я скажу вам кое-что по-дружески. Полтора года назад на мистера Тэпа уже покушались. В гостиничном холле в Аддис-Абебе.

Повисла пауза, во время которой я все думал, как это несправедливо: по ошибке стрелять в человека, в которого уже стреляли намеренно. Меньше всего в этот момент я нуждался в таком бессмысленном совпадении.

Уоллес мягко откашлялся.

– Мы не будем сейчас сличать все показания. Поговорим только о мороженом. Официант утверждает, что принес вам мороженое в момент выстрела.

– Я запомнил несколько иначе. Мы успели попробовать его, потом оно было залито кровью.

– Официант сказал, что брызги крови долетели и до него. На мороженое они попали, когда он поставил вазочки на стол.

– Но я помню, как съел пару ложек, – возразил я.

Я почувствовал знакомое разочарование. Мы не можем прийти к согласию. Мы живем в тумане ненадежных, частично заимствованных представлений, данные чувств меняются под призмой желаний и убеждений, которая искажает и нашу память. Каждый запомнил свой вкус и убеждал себя в правоте. Безжалостная объективность, особенно по отношению к себе, всегда была обреченной стратегией социального поведения. Мы происходим от негодующих, страстных рассказчиков

полуправды, которые, чтобы убедить других, одновременно убеждают себя. Из поколения в поколение успех отсеивал нас, и этот дефект успешно передавался, проник в наши гены глубоко, как след телеги на проезжей дороге, – мы не принимаем реальность, если она нас не устраивает. Кто свято верит – ясно видит. Отсюда разводы, войны и споры из-за границ, вот почему статуя Девы Марии плачет кровавыми слезами, а каменный Ганеша пьет молоко. По той же причине метафизика и наука считаются столь рискованными предприятиями, столь поразительными изобретениями, более важными, чем колесо, более значительными, чем сельское хозяйство: артефакты человека против крупницы его естества. Беспристрастная правда. Но она уже не могла спасти нас от себя, колея стала слишком глубокой. Личное спасение через объективность невозможно.

Но каким же моим личным интересам служили мои воспоминания об обеденном меню?

Уоллес терпеливо повторил вопрос:

– Какой вкус был у мороженого?

– Яблочный. Если этот парень говорит что-то другое, значит, мы имеем в виду разных официантов.

– Ваш друг профессор говорит – ванильный.

– Скажите мне лучше, почему вы не хотите поговорить с Перри?

На скулах Уоллеса натянулась кожа, ноздри раздулись. Он пытался подавить зевок.

– Мы занесли его в список. Дойдет очередь и до него. Сейчас наша главная задача – найти стрелявшего. И если вы не возражаете, мистер Роуз, давайте выясним про мороженое. Так яблочное или ванильное?

– Это поможет вам найти преступника?

– Это поможет нам убедиться, что наши свидетели прикладывают все усилия. Важны детали, мистер Роуз.

– Тогда яблочное.

– Который из мужчин был выше?

– С пистолетом.

– И более худым?

– Я бы сказал, они оба среднего телосложения.

– Что вы можете сказать об их руках?

Я ничего не мог вспомнить, но проделал весь необходимый ритуал – нахмурился, поглядел в сторону, прикрыл глаза.

Неврологи сообщают, что у испытуемых, вспоминающих какие-то события, сканеры, работающие на магнитном резонансе, фиксируют наибольшую активность в участке коры головного мозга, что отвечает за

визуальную информацию, – но какую же жалкую картинку предоставляет память: еле различимую, бледнее тени, слабее шепота. Искать там новые сведения бесполезно, все рассыпается под пристальным взглядом. Я видел рукава длинного черного пальто, тусклого, как на помутневшем дагерротипе, а в рукавах – ничего. Или все, что угодно. Руки, перчатки, лапы, клешни.

– Ничего не помню про руки, – признался я.

– Постарайтесь еще. Может, было какое-то кольцо?

Я вызвал в памяти руку, весьма смахивающую на мою, и украсил ее кольцом, которое мне подарила Кларисса: сплетением серебра и золота, изящно простым и специально чуть меньшим по размеру. Чтобы надеть его, она смазала мне сустав кремом. Нам обоим нравилось, что его нельзя просто так снять. Я сказал:

– Не помню, – и добавил, вставая: – Пожалуй, я пойду.

Уоллес тоже поднялся.

– Хорошо бы вам остаться и помочь нам.

– Хорошо бы вам помочь мне.

Он обогнул стол.

– Перри здесь ни при чем, уверяю вас. Хотя помощь вам, возможно, все-таки нужна. – Он порылся в кармане, вытащил серебристую упаковку таблеток и помахал ею перед моим лицом. – Знаете, что это? Я пью по две перед завтраком. Сорок миллиграммов. Двойная доза, мистер Роуз.

Быстро уходя по коридору, я снова ощутил свою оторванность и изоляцию. Может, это была жалость к себе: какой-то маньяк пытается убить меня, а все, что может предложить мне закон, это таблетки успокоительного.

Уже стемнело, когда я вышел из такси неподалеку от дома и направился, используя шеренгу платанов как прикрытие, к подъезду. Перри не стоял на своем обычном месте, не было его и чуть дальше, там, где он прятался, когда выходила Кларисса. Я не обнаружил его ни за своей спиной, ни на соседних улицах, ни за кустами, ни за углом здания. Я решился войти и постоял в подъезде, прислушиваясь. Из одной квартиры на первом этаже глухо доносилась кульминация какой-то симфонии, банальная и перегруженная, похоже, Брукнер, а где-то надо мной журчала в трубах вода. Я начал медленно подниматься по ступенькам, держась поближе к стене. Не то чтобы я думал, что он сможет пробраться в здание, просто ритуальное соблюдение мер предосторожности приносило успокоение. Войдя в квартиру, я намертво запер входную дверь. По неподвижности в воздухе я сразу же догадался, что Кларисса спит в

детской, а на кухонном столе, естественно, меня ждала записка. «Смертельно устала. Поговорим утром. Люблю, Кларисса». Я вглядывался в «люблю», пытаюсь выудить дополнительный смысл или надежду из заглавной «Л». Проверил запоры застекленной крыши, затем обошел комнаты, включая свет и запирая окна. Потом я налил себе большой стакан траппы и прошел в кабинет.

Я всегда пользовался двумя записными книжками. Маленькую, в твердой обложке я носил с собой каждый день и брал в поездки. Два или три раза за последние двадцать лет я забывал ее в гостиничных номерах, а как-то оставил в телефонной будке в Гамбурге и был вынужден купить новую. Вторая – огромный потертый гроссбух, который я завел лет в двадцать и никогда не выносил из кабинета. Он, ясное дело, служил запасным вариантом, хранилищем на случай потери маленькой книжки, но с годами дорос до памятника личной и общественной истории. Он демонстрировал расцветающую сложность самих телефонных номеров; трехбуквенные лондонские коды самых первых записей отличала эдвардианская замысловатость. Вычеркнутые адреса показывали неутомимость многих друзей или их продвижение по социальной лестнице. Расшифровывать какие-то имена уже не имело бы смысла: люди умирали, или исчезали из моей жизни, или ссорились со мной, или терялись как-то иначе – десятки имен, уже ни о чем мне не говорящих.

Включив лампу, я забрался в кресло со стаканом граппы^[19] и гроссбухом, открытым на первой странице, и принялся перелистывать исписанные вдоль и поперек страницы, разгадывая древние записи в надежде отыскать криминальные связи. Может, я и жил ограниченной жизнью, раз не знал ни одного злодея, ни одного организованного злодея. Нашелся один торговец подержанными ворованными машинами, на букву «Г». Давно умер от рака. Бывший одноклассник на букву «К», склонный к депрессии и работавший в казино адреналина ради. Он потерялся из виду, женившись на жуткой стерве, которая была психиатром и заставила его пройти курс электрошоковой терапии. Они осели где-то в Бельгии.

Я продолжал перебирать друзей, приятелей, знакомых и незнакомых за все прожитые годы, и большинство из них были исключительно приятными людьми. Один-два вруна, один балбес, один хвостун, один заблуждавшийся на свой счет, но никого, кто ступил бы на скользкий путь, никого, кто действовал бы по другую сторону закона. Среди фамилий на букву «Н» одна английская красавица, с которой осенью 1968 года я делил спальный мешок в Кабуле и Мазари-Шарифе. Вернувшись через пару лет в Англию, она систематически развлекалась магазинными кражами. Сейчас же она –

директор школы в Челтнеме. Нет в людях упорства. Еще один родившийся под знаком «Н» – Джон Нолан, признанный двадцать лет тому назад виновным в убийстве. Напившись на вечеринке, он выбросил с балкона второго этажа кошку, и она разбилась об ограду палисадника. Его справедливо преследовало «Королевское общество защиты животных от жестокого обращения» и взыскало с него штраф в пятьдесят фунтов. Тем не менее с работой в Управлении налоговых сборов он не расстался.

Эта Книга Судного Дня, полная человеческой изменчивости и мимолетных пристрастий, которые я наблюдал и записывал больше четверти века, содержала лишь одну пристойную историю современного злодейства. Состав действующих лиц слишком хорошо просеян, слишком неоднозначны уклоны и хитрости их пороков, чтобы судить о них с точки зрения Уголовного кодекса. Алфавитный круг моего общения представлял ограниченное число неудач и значительное – успехов, и те и другие проходили по узкой дорожке образования и денег. В большинстве случаев речь шла не о выдающемся богатстве, а о разумном достатке, когда необходимости в чужих деньгах просто не возникало. Возможно, большинство преступлений среднего класса происходит в голове либо в постели или рядом с ней. Побои, оскорбления, похищения, изнасилования и убийства являлись, при необходимости, в мрачных фантазиях. Но удерживает нас нечто меньшее, чем мораль, скорее «элегантность», боязнь дурного вкуса. Кларисса научила меня одному афоризму Стендаля: «Дурной вкус ведет к преступлениям».

С растущим разочарованием я продолжал досматривать мою Книгу Судного Дня, не обращая внимания на внезапное любопытство или невнятную вину, возникающие при виде каких-то имен, пока не дошел наконец до пустынной поросли конечных букв – U, V, X, Y и Z, сухо окружающих последний оазис возможностей – букву W. Посреди безобидных Уэйтфилдов, Уотерзов и Уорренсов скрывалась полустертая карандашная запись, сделанная чужим корявым почерком, – имя Джонни Б. Уэлла. В книге Уэлл не имел отношения к уголовному миру, но в моей памяти обладал связями, обширными, как у нейрона.

Его звали просто Джон Уэлл, букву «Б» он позаимствовал сам или по чьей-то подсказке из имени героя песни Чака Берри, извлекавшего из гитары звук, похожий на звон колокольчика^[20]. Насколько я помнил, ничто не давалось нашему Джонни так легко, как путешествия на общественном транспорте по северным и южным пригородам Лондона с пакетиками марихуаны и гашиша, которые он доставлял на дом любителям, слишком утонченным для общения с уличными торговцами. Он был наркодилером,

как ни крути, но это определение звучало слишком грубо и оскорбительно для Джонни Б. Уэлла, который больше походил на владельца магазина, проверенного поставщика тонких вин или деятельного хозяина лавки деликатесов. Он внимательно относился к ценам, имел дело с товаром только высшего качества и хорошо в нем разбирался. Его честность доходила до той же точки – с преувеличенным вниманием и точностью он отсчитывал пятерки на сдачу, с демонстративной скрупулезностью возмещал последствия неудачной сделки. Он был безобиден и сдержан, его принимали везде. Совершая свои бесконечные круги в тумане – каждая новая сделка начиналась или скреплялась неизменным косячком, – он, выпив с консультирующим офтальмологом чаю, мог перенестись в ванную друга-адвоката, затем поужинать в доме какой-нибудь рок-звезды, а на рассвете заснуть в окружении медсестер.

У него было и свое жилье – опечатанный чуланчик для метел в Стритеме. Как-то вечером он открыл дверь четырем ухмыляющимся маскам Джимми Картера – вот как давно это было, – а в каждой паре рук у них было по ломику. Они не произнесли ни слова и не тронули его. Вломились в комнату и перевернули все вверх дном – на все это у них ушло секунд пять, – а потом ушли. Организованная преступность круто взялась за хиппи.

Рыночный рационализм делал тогда свои первые шаги. Импорт и распространение до тех пор считались вотчиной авантюрных капиталистов, лентьев-одинок, приверженцев дхармы, которые поставили все на раздутые благоухающие рюкзаки. Маски и ломик становились гибче и демократичнее, товар скатился до третьесортного пакистанского гашиша и закрепился в барах, на футбольных трибунах и в тюрьмах.

Пару месяцев казалось, что Джонни Б. Уэллу придется подыскивать другую работу, но вдруг его взяла под свою защиту группировка, некогда разгромившая его квартиру. С скромная зарплата и процент с продаж. В то время он был вынужден расширить круг знакомств, поэтому сейчас я решил, что он может помочь. Его работодателями стала шайка амбициозных парней, поселившихся в *chambre separee*^[21] на южных задворках Лондона. У них было полно друзей, и они часто отправляли Джонни с поручениями. Бандиты держали его за честного торговца, каким он и был, не задирались и не трогали. В то же время Джонни ухитрился сохранить старую требовательную клиентуру, ценящую хороший продукт – свернутые трубочкой листики из Нигерии, плетеные палочки из Наталя и Таиланда, новые бессеменные сорта из округа Ориндж и невесомые золотые листочки из Ливана. В нынешнее время обычный распорядок дня,

полного грез, требовал присутствия на ленче с пивом у прогрессивных деятелей, а чуть позже Джонни уже пил чай с консерваторами, которые терпеть не могли первых.

Жилось ему одиноко и трудно, гораздо труднее, чем звонящему в колокольчик парню из песни. Джонни Б. Уэлл так никогда и не разбогател. Он был слишком серьезен, слишком честен, слишком увлекся наркотиками. Он никогда не ездил на такси. Какой другой дилер стал бы тридцать пять минут ждать в сношенных ботинках автобуса? Он сохранил простую, крепкую убежденность филантропа в то, что под воздействием смолы или пахнущих цветами и фруктами листочков, если их поджечь и вдохнуть, человеческое существо неизменно приходит в прекрасное расположение духа, а как только добродушие начинает преобладать и сердца открываются свету, сразу же затихают все частные и публичные раздоры. Тем временем, когда крэк расколол восьмидесятые, маски и ломики вместе с адвокатами, консультантами и рок-звездами сконцентрировались на деньгах.

Круг света, в котором я сидел, будто стал ярче и меньше. Граппа исчезла, хотя я не помнил последнего глотка. Я вглядывался в корявое имя Джонни и семь следующих за ним цифр. Кто, как не он, может мне помочь? Почему я не подумал о нем раньше? Почему не подумал о нем сразу же? Ответ был прост – я не видел его одиннадцать лет.

Как и многие до меня, я постепенно пришел к выводу, что в середине успешной, но дерганой жизни алкоголь является лучшей из способных повлиять на мозг субстанций. Вполне законный и дружеский, с легкостью скрывающий чьи-то умеренные склонности за склонностями всех остальных; в бесчисленных и оригинальных своих проявлениях такой яркий, такой вкусный напиток в твоей руке торжествует самой своей формой; его текучесть стоит в одном ряду с každодневным молоком, чаем, кофе, с водой, наконец, а значит, и с самой жизнью. Пить для человека естественно, тогда как вдыхать дым тлеющих растений все-таки не то же самое, что дышать, так же как принимать таблетки – не то же, что есть; и нет ни одного естественного процесса, напоминающего проникновение иглы, кроме разве что осиногo укуса. Простой солод с ключевой водой или прохладный бокал шабли своими скромными градусами способны улучшить ваш внешний вид, не оставив при этом ряби на зеркальном континууме вашей личности. Конечно же, не стоит сбрасывать со счетов пьянство, с его хамством, тошнотой и грубостью, а также малодушием, физической и умственной запущенностью, ведущей к деградации и медленной смерти. Но это лишь следствие злоупотребления, вытекающего так же легко, как кларет из бутылки, из человеческих особенностей, из

дефектов характера. Глупо винить во всем субстанцию. Даже у шоколадных пирожных есть свои жертвы. У меня был даже один пожилой приятель, который годами обеспечивал себе насыщенную и полезную жизнь чистым героином.

Я стоял в полутемном коридоре, прислушиваясь; только треск и пощелкивание оседающего дерева и металла, и где-то в глубинах водопроводных труб журчание убегавшей воды. На кухне шуршал холодильник, вдалеке успокаивающе гудел ночной город. Вернувшись в кабинет, я сел, пристроив телефон на колене, и принялся ждать подходящий, поворотный момент. Я готовился выбраться из светящейся оболочки страхов и скрупулезных фантазий в колючий мир последствий. Я понимал, что одно действие, одно событие повлечет за собой другие, пока вся вереница не выйдет из-под моего контроля, и если у меня есть какие-то сомнения, то отказываться нужно именно сейчас.

Джонни снял трубку после четвертого гудка, и я назвал свое имя. Он сообразил немедленно.

- Джо! Джо Роуз. Здорово! Как поживаешь?
- Нормально. Мне нужна твоя помощь.
- Да? У меня как раз есть кое-что интересненькое.
- Нет, Джонни. Не то. Мне нужна твоя помощь. Мне нужен пистолет.

На следующее утро я вез Джонни к дому в северном пригороде. В заднем кармане моих брюк лежала пачка – 750 фунтов, в основном двадцатками. Полтинники, очевидно, там не примут.

Пока мы ползли по душному унылому Тутингу, он возился с электронным управлением кресла и бормотал себе под нос, нажимая на кнопки встроенного компьютера и подсветки карты:

– Значит, у тебя все хорошо... Да уж, я всегда знал, что ты не пропадешь.

Находясь почти в горизонтальном положении, он преподал мне урок оружейного этикета.

– Тут как в банке. Никто не говорит «деньги». Или на похоронах – никто не скажет «покойник». Покупая пистолет, не произноси этого слова. Только прикурки, насмотревшиеся телевизора, говорят «ствол» или «обрез». Постарайся вообще никак его не называть. В крайнем случае говори «предмет», или «средство», или «необходимость».

– Они и патроны продадут?

– Да, да, только называй их «комплектующие».

– Скажи, кто-нибудь покажет мне, как им пользоваться?

– Да ты что! Сразу потеряешь лицо. Пойдешь потом в лес и сам научишься. Они отдают, ты кладешь в карман. – Джонни перевел спинку кресла в вертикальное положение. – А ты уверен, что тебе так уж надо разгуливать с пистолетом?

Я промолчал. За помощь я хорошо заплачу Джонни. Отсутствие же подробностей защитит нас обоих. Мы все еще стояли в пробке. Вместо джаза по радио бессовестно стали транслировать какую-то атональную музыку, откровенные вопли и грохот, действовавший мне на нервы. Я выключил приемник и попросил:

– Расскажи еще про этих людей.

Я уже знал, что это бывшие хиппи, разбогатевшие на кокаине. В середине восьмидесятых они вышли из тени и занялись недвижимостью. Сейчас дела их шли не очень хорошо, именно поэтому они с радостью согласились продать мне пистолет по баснословной цене.

– По сравнению с остальным народом, – объяснил Джонни, – их можно назвать интеллектуалами.

– В смысле?

– У них книжки повсюду. Любят обсуждать глобальные вопросы. Считают себя кем-то вроде Бертрана Рассела. У тебя они, наверное, вызовут отвращение.

Я уже его чувствовал.

Когда мы доехали до шоссе, Джонни спал, опустив спинку. Обычно он спал до полудня. Дорога была тихая и прямая, и у меня появилось время рассмотреть его. Он по-прежнему носил усы в стиле американских колонистов, уже чуть поседевшие по углам, загибающиеся через верхнюю губу и почти лезущие в рот. Символизировали ли они суровую мужественность, которая так нравится женщинам, или были пережитком вчерашней моды? Тридцать пять лет он ухмылялся и прищуривался сквозь дым, и от этого морщины, словно вороньи следы, добежали почти до ушей. От носа до уголков рта глубоко пролегла мимическая складка разочарования. Насколько я знал, кроме сменившихся клиентов и новой подружки, все в жизни Джонни было по-старому. Но маргинальная жизнь больше не считалась оригинальностью, а нехватка общепринятых устремлений – просветленностью, и это доступно сообщало его тело: это было написано на коже, отражалось в зеркале. Джонни так и шел по жизни в стоптанных ботинках, жил как студент, как брат милосердия, переживая, что этот новомодный винт из Амстердама слишком крут и плохо действует на сердце.

Смена дорожного покрытия разбудила Джонни, когда мы свернули с шоссе. Лежа на спине, он вытащил из кармана тоненький косячок и закурил. Двумя затяжками позже включил подъемник спинки кресла и стал маячить у меня перед глазами, с шумом выпуская клубы дыма. Он не изменился. Это был маленький косячок, первый за день, который он обычно выкуривал после чая с тостами.

Затянувшись, он заговорил на вершине вдоха, как в старые времена. Сущий ангел.

– Сейчас налево. По указателям на Эбингер.

Вскоре мы уже ехали мимо кривых сучьев и стволов, сквозь мрачные туннели зелени, по высокой насыпи с единственной полосой. Я включил фары. Чтобы разминуться со встречными машинами, приходилось вжиматься в обочину. Со всеми водителями мы обменивались кивками и хмурыми улыбками, мол, в тесноте, да не в обиде. Мы заехали на самую окраину самого далекого пригорода. Через каждые двести-триста метров стояли чьи-нибудь ворота – кирпич иковка двадцатых годов – или деревянные калитки с чугунными фонарями. Неожиданно появился просвет между деревьев – там сходились две дороги и стоял бревенчатый

паб с сотней припаркованных вокруг машин, греющих разноцветные бока на солнцепеке. Пустой пакетик из-под чипсов, сонно барахтавшийся в солнечном свете, коснулся нашего лобового стекла. Две восточноевропейские овчарки сидели, опустив головы. Затем мы снова нырнули в туннель, и дым в машине стал гуще.

– Как приятно выбраться за город, – сказал Джонни.

Я приоткрыл окно. Не хотелось быть пассивным курильщиком. Пачка денег врезалась в мою ягодицу, все вокруг казалось многозначительным, словно было выделено курсивом. Может быть, от страха.

Еще через десять минут мы свернули на изрытый колеями путь, где сквозь крошащийся асфальт пробивались какие-то ростки.

– Вот она, сила жизни, – сказал Джонни. – Прет через все преграды. Разве это не чудо?

Он затронул один из глобальных вопросов, уже явно готовясь общаться с поджидающей нас компанией. Я собрался подробно ответить, чтобы успокоить нервы. Но тут перед нами возникла безобразная имитация тюдоровского особняка, и слова застряли у меня в горле.

Изогнутая подъездная дорожка привела нас к бетонному гаражу на две машины, покрашенному неравномерно выцветшей пурпурной краской. Ржавая подъемная дверь была заперта на висячий замок. Из высокой травы и зарослей крапивы торчали скелеты и внутренности шести мотоциклов. Совершать преступления в таком месте – одно удовольствие. К железному кольцу на гаражной стене была приделана длинная цепь без всякой собаки на конце. Здесь мы остановились и вышли из машины. Крапива разрослась до самой входной двери в стиле времен короля Георга. Из дома доносилось уханье бас-гитары, неуклюже повторявшей пассаж из трех нот.

– Ну, где тут интеллектуалы?

Джонни подмигнул и придавил ладонью воздух, словно заталкивая мои слова в невидимую бутылку. Пока мы шли к двери, он перешел на шепот.

– Послушай моего совета, не пожалеешь. Не смейся над ними. В их жизни не так все просто складывалось, как у тебя, поэтому им не хватает... гм... выдержки.

– Что ж ты молчал. Пошли отсюда. – Я потянул Джонни за рукав, но свободной рукой он уже звонил в дверь.

– Да все нормально, – сказал он. – Ты только следи за собой.

Я отступил на шаг и почти развернулся, прикидывая, не уйти ли мне быстренько по этой дорожке, но дверь резко распахнулась, и врожденная вежливость удержала меня. Хлынувший из дома тяжелый запах

подгоревшей еды и мочи или какая-то вспышка вне дома на мгновение обрисовали фигуру в дверях.

– Джонни Б. Уэлл! – воскликнул мужчина. У него была гладко выбритая голова и маленькие, выкрашенные хной и навощенные усы. – Какими судьбами!

– Я звонил вчера вечером, помнишь?

– Ну точно, мы договорились на субботу.

– Сегодня суббота, Стив.

– Нет, Джонни, пятница.

Оба посмотрели на меня. Я каждый день просматривал газеты о происшествии в ресторане, и свежий номер лежал у меня в машине, на заднем сиденье.

– В действительности сегодня воскресенье.

Джонни помотал головой. Я почувствовал, что предал его. Стив смотрел на меня с ненавистью. Думаю, не из-за двух потерянных дней, а из-за моего «в действительности». Он был прав, подобные выражения здесь неуместны, но я выдержал его взгляд. Он сплюнул чем-то белым в крапиву и сказал:

– Ты, значит, хочешь купить пистолет и патроны?

Джонни с интересом рассматривал проплывающее облако.

– Так мы войдем или как?

Стив задумался.

– Если сегодня воскресенье, у нас должны быть гости.

– Ну да, это мы и есть.

– Вы были вчера, Джонни.

Мы старательно засмеялись. Стив отодвинулся, и мы прошли в вонючий коридор.

Входная дверь закрылась, и мы оказались почти в полной темноте. Словно оправдываясь, Стив сказал:

– Мы тут жарили тосты, а собака загадила весь пол на кухне.

Вслед за Стивом мы прошли в глубь дома. Каким-то образом упоминание о собаке создало впечатление, что семь с половиной сотен за пистолет – довольно справедливая цена.

Мы оказались в большой кухне. Пласты голубого дыма от горелого хлеба парили на уровне плеч и подсвечивались солнечным лучом из стеклянной двери в дальнем углу. Человек в комбинезоне и резиновых сапогах посыпал пол хлоркой из цинкового ведра. К Джонни он обратился по имени, а мне кивнул. Собаки не было видно. У плиты стояла женщина и что-то перемешивала в кастрюле. У нее были распущенные волосы до

пояса. Она двинулась к нам плавно и неторопливо, и я определил для себя ее тип. В Англии хипповали в основном юноши. Тихие девушки определенного типа сидели, поджав ноги, в сторонке, обкуривались и подносили чай. А потом, точно так же, как во время Мировой войны прислуга покинула благородные дома, все эти девушки разом исчезли, как только заявило о себе женское движение. Их больше невозможно было найти. Но Дейзи осталась. Она подошла и представилась. С Джонни она, конечно же, была знакома и, здороваясь с ним, прикоснулась к его руке.

Я решил, что ей под пятьдесят. Прямые длинные волосы были последней ниточкой, связывавшей ее с молодостью. Неудачи избороздили лицо Джонни, у Дейзи же опустились углы рта. Позже я обращал внимание на подобную черту у женщин моих лет. С их точки зрения, всю жизнь они отдавали себя до конца и ничего не получили взамен. Мужчины оказывались подонками, социальный контракт – несправедливостью и сама биология – сплошной печалью. Под грузом всех разочарований улыбки прогибались и застывали в перевернутом виде – лук Амура, несущий утрату. На первый взгляд в них читалось лишь неодобрение, но в каждой паре губ была своя печальная история, хотя их владелицам и в голову не приходило, какие тайны могут всплыть наружу.

Я назвал Дейзи свое имя. Она продолжала держать Джонни за руку, но обращалась ко мне:

– Мы решили устроить поздний завтрак. Но нам пришлось начать все сначала.

Через несколько минут мы сидели вокруг длинного обеденного стола, каждому полагалась миска каши и кусок холодного тоста. Напротив меня сидел тот, что мыл пол, его звали Зан. У него были огромные предплечья, мясистые и безволосые; я ему, похоже, не понравился.

Стив сел во главе стола, сложил ладони и закрыл глаза. В то же мгновение он глубоко вдохнул. Глубоко, в какой-то носовой полости, волею случая бульканье слизи превратилось в две свирельные ноты, и мы были вынуждены прислушаться. На несколько мучительных секунд он задержал дыхание, а потом наконец выдохнул. То ли он занимался дыхательной гимнастикой, то ли медитацией, то ли возносил благодарственную молитву.

Невозможно было оторвать взгляд от его усов. По размеру они не уступали усам Джонни. Прямые, как шомпол, и воцеленные, как у жеманного прусака, они были выкрашены в неистовый жжено-оранжевый цвет. Поднеся ладонь ко рту, я скрыл улыбку. Я чувствовал невесомость и озноб. Шок от вчерашней пальбы, идея столь безрассудного приобретения, полуосознанный страх – все это создавало ощущение нереальности

происходящего, и я боялся сделать или сказать какую-нибудь глупость. Мой желудок по-прежнему боролся с качкой, а напавшая на меня смешливость росла вместе с ощущением, что я попался в ловушку. Вероятно, я все же надыхался от косяков Джонни. Я не мог остановить поток ассоциаций, вызываемых усами Стива. Два ржавых гвоздя, торчащих из десен. Остроконечные мачты шхуны, которую я построил в детстве. Вешалка для полотенец.

Не смейся над этими людьми... Им не хватает выдержки... Как только я вспомнил наставления Джонни, как только осознал, что смеяться нельзя, я понял, что пропал. Первый слабый позыв я замаскировал, пошмыгав носом. Для прикрытия я взялся за ложку. Но никто еще не приступил к еде. Никто не произносил ни слова. Мы ждали Стива. Когда его легкие уже были готовы разорваться, он опустил голову и выдохнул, а кончики усов затряслись, как у старательного грызуна. Со своего места я наблюдал, как человеческое выражение дезертирует с тонущего корабля его лица. Новые непрощенные образы из детства бегали вереницей, вперед и назад, по спирали моего беспокойства и безудержного веселья. Я пытался отогнать их прочь, но нелепые усы властно пробуждали воспоминания, сводя на нет мои потуги: викторианский тяжелоатлет на жестянке с печеньем, шкворень в шее Франкенштейна, новомодный будильник с нарисованной рожицей, показывающей без четверти три. Садовая Соня, пьющая чай с Болванщиком, мистер Крыс в школьной постановке «Ветра в ивах».

И у этого человека я собирался покупать пистолет.

Я ничего не мог с собой поделать. Ложка в моей руке ходила ходуном. Я осторожно положил ее на стол и изо всех сил стиснул зубы, чувствуя, как капли пота собираются у меня над верхней губой. Я начал трястись и получил недоверчивый, испытующий взгляд Зана. Мой стул издавал скрип, а глухое бульканье – я лично. Я чувствовал такую нехватку воздуха в легких, что понимал: вдохнув, я произведу еще больше шума, но оставались две возможности: опозориться или умереть. Время почти остановилось, когда я отступил перед неизбежным. Я заерзал на стуле и, спрятав лицо в ладонях, с хрипом набрал воздуха. Как только легкие наполнились, я понял, что меня еще больше распирает от смеха. Его удалось скрыть, изобразив смесь йодля с чихом. Я уже стоял, как и все остальные. Чей-то стул с грохотом ударился об пол.

– Это все хлорка, – сказал Джонни.

Он оказался настоящим другом. У меня появилась легенда. Но, борясь с волнением, я еще должен был отогнать от себя видение усов Стива. Кашляя и отфыркиваясь, наполовину ослепший от слез, я двинулся через

комнату к стеклянным дверям, которые словно распахнуло волной при моем приближении, и, спотыкаясь на деревянных ступеньках, вышел на лужайку, где на прогретой земле росли одуванчики.

Под взглядами всей компании я повернулся спиной к дому, чтобы отплеваться и отдышаться. Наконец успокоившись, я распрямился и увидел прямо перед собой привязанную проводом к ржавому остоу кровати собаку, вероятно ту, что запачкала пол на кухне. Собака вскочила на ноги, наострила уши и неуверенно, словно извиняясь, вильнула хвостом. Есть ли в природе другое животное, кроме человека и других приматов, способное длительное время испытывать покорный стыд? Я глядел на собаку, собака – на меня и, казалось, апеллируя к каким-то межвидовым связям, пыталась привлечь меня на свою сторону. Но я не позволил себя втянуть. Я развернулся и решительно зашагал прочь, выкрикивая:

– Прошу прощения! Аммиак! Аллергия!

А собака, лишенная источников хитрости, доступных мне, улеглась на свой клочок голой земли дожидаться прощения.

Вскоре мы снова сидели за кухонным столом, окна и двери были распахнуты настежь, и мы обсуждали аллергию. Зан окружал свои суждения ореолом фундаментальной истины, украшая их выражением «в сущности».

– В сущности, – заметил он, глядя на меня, – твоя аллергия есть форма дисбаланса.

Когда я сказал, что с этим не поспоришь, он выглядел польщенным. Я уже начал думать, что он, возможно, и не испытывал ко мне ненависти. На кашу он смотрел с той же уважительной враждебностью, что и на меня. То, что я принял за выражение, очевидно, являлось собственно его лицом. Меня сбил с толку изгиб его верхней губы, превращенной в оскал какой-то генетической недостаточей.

– В сущности, – продолжал он, – для аллергии должны быть причины, и исследования доказывают, что в семидесяти процентах случаев корни заболевания уходят в разочарования из самого, в сущности, раннего детства.

Эта идея была мне знакома – проценты, высосанные из пальца, исследование, лишенное доказательств, измерение неизмеримого. Типичный детский сад.

– Я из оставшихся тридцати процентов, – сказал я.

Дейзи в эту минуту стояла, добавляя на тарелки кашу. У нее был тихий голос человека, знающего истину, которого, впрочем, никто не вынудит за нее сражаться:

– Существует доминирующий планетарный аспект, который имеет особые связи с земными знаками и десятым домом.

На этой фразе Джонни вскинул голову. Он был сильно напряжен с тех пор, как мы снова сели за стол, возможно опасаясь, что я снова что-нибудь выкину.

– Во всем виновата промышленная революция. До девятнадцатого столетия никто не страдал от аллергии, а о сенной лихорадке еще слыхом не слыхивали. А потом мы начали загрязнять воздух разной химической дрянью, которая попадала в воду и продукты, после этого у людей начала отказывать иммунная система. Наш организм не предназначен для переработки всякой гадости.

Джонни порядком разошелся, когда его прервал Стив:

– Прости меня, Джонни, но все это пирожки из дерьма. Индустриальная революция привела нас в такое состояние духа, отсюда все наши болезни. – Внезапно он повернулся ко мне. – А ты что думаешь?

Я думал, что пора бы уже кому-нибудь принести пистолет. Я сказал:

– Мой случай полностью зависит от душевного состояния. Когда у меня все в порядке, хлорка вообще на меня не действует.

– Ты несчастлив, – заявила Дейзи, поджав губы с печально опущенными уголками. – В твоей ауре я вижу скопления грязно-желтого цвета.

Если бы стол был уже, она могла бы дотянуться до моей руки.

– Верно, – согласился я и ухватился за удобный случай, – именно поэтому я здесь.

Я взглянул на Стива, но он отвел глаза. Я ждал, молчание становилось все напряженнее. Джонни беспомощно оглядывался по сторонам, и я засомневался, не ошибся ли он.

Пауза тянулась из-за того, что никто не хотел заговаривать первым. Наконец не выдержал Зан:

– Мы, в сущности, не те люди, у которых может оказаться пистолет.

Он в замешательстве умолк, его выручила Дейзи:

– Мы храним его уже двенадцать лет, но из него ни разу не стреляли.

Стив тут же встрял, сообщая ей то, что она и без него прекрасно знала:

– Хотя все это время его исправно чистили и смазывали.

А она ответила ему, к моей радости:

– Да, но не потому, что мы собирались стрелять.

Наступила неловкая тишина. Разговор зашел в тупик. Зан начал его заново:

– Дело в том, что он нам не нравится.

– Как и любой другой пистолет, – добавила Дейзи.

Стив пояснил:

– Это «штоллер» тридцать второго калибра, выпущен еще до того, как норвежцы продали завод обратно датчанам и немцам, которые и разработали этот тип оружия. У него двойной спуск, который...

– Стив, – мягко вмешался Зан. – В сущности, эта вещь попала к нам в руки совсем в другое время, безумное и трудное, и никто не знал, когда он может нам понадобиться.

– Для самозащиты, – откликнулся Стив.

– Мы много говорили на эту тему до вашего приезда, – сказал Дейзи. – Нам не очень нравится идея отдать его в чужие руки, ну и...

Она не смогла закончить, поэтому я спросил:

– Так вы продаете или нет?

Зан скрестил на груди мясистые руки:

– Вопрос не в этом. И не в деньгах.

– Э, погоди, – сказал Стив, – так тоже нельзя.

– О боже! – Зан начал злиться. Он не мог подобрать слов к своим мыслям, это и так непросто, а тут еще все время перебивают. Его позиция читалась в его оскале. – Видите ли, – начал он, – были времена, когда все упиралось в деньги. И только в деньги. Скажете, все понятно. Я не считаю, что это было плохо, но вот что из этого вышло. Все получилось не так, как хотели люди. Но нельзя рассматривать эту проблему саму по себе. Ни одну проблему нельзя рассматривать саму по себе. Все взаимосвязано, теперь мы об этом знаем, убедились наглядно, таково общество. В сущности, вопрос глобальный.

Стив нагнулся к Дейзи и театрально спросил, прикрываясь ладонью:

– О чем это он?

Дейзи заговорила со мной. Возможно, она еще размышляла о причинах моего несчастья.

– Все просто. Мы готовы продать, но нам хотелось бы знать, что ты собираешься с ним делать.

Я ответил:

– Вы получаете деньги, я – пистолет...

Джонни снова дернулся. Сделка, которую он организовал, грозила развалиться.

– Поймите, у Джо есть причины, чтобы не распространяться. Для нашего же и его блага.

Мне не понравилось упоминание моего имени. Теперь на несколько недель оно зависнет в воздухе этой кухни, вместе с другими.

– Слушай, – Джонни тронул меня за руку, – что-то ты, наверное, мог бы сказать, чтобы люди не нервничали.

Все посмотрели на меня. Сквозь распахнутые двери до нас доносились тщетно сдерживаемые, глухие завывания дворняги. Больше всего мне хотелось уйти – с пистолетом или без. Я демонстративно взглянул на часы и произнес:

– Скажу вам пять слов, и ни словом больше. Один человек собирается меня убить.

В наступившей тишине все, не исключая меня, осмысливали мои слова.

– Значит, это самозащита? – с надеждой в голосе спросил Зан.

Я утвердительно пожал плечами. На лицах у них было смятение. С одной стороны, им хотелось денег, а с другой – оправдания. Эти наркоторговцы, эти спекулянты недвижимостью, разорившиеся из-за отрицательного дохода и своих гуманных верований, рвали на груди рубахи, доказывая свою духовность, и при этом хотели, чтобы я помог им выкрутиться. Я почувствовал себя лучше. Да, я плохой. Неожиданно я почувствовал себя свободным. Я вытащил пачку купюр и бросил на стол. Разве не в этом все дело?

– Можете пересчитать.

Сперва никто не шевельнулся, потом резкое движение, и ладонь Стива лишь чуть-чуть опередила руку Зана. Дейзи помрачнела. Дело, видимо, было серьезным. Может, каша и тосты составляли весь их рацион.

Как банковский клерк, Стив с колоссальной скоростью пересчитал банкноты, а затем убрал в карман и обратился ко мне:

– Прекрасно. Теперь можешь валить отсюда, Джо!

Чтобы сохранить лицо, я присоединился к нервному смеху.

Но обратил внимание, что Зан не засмеялся. Он выжидал, скрестив на груди руки, его оскал теперь ничего не выражал. Мускул на его правом предплечье – из тех мышц, что у меня так и не развились, – ритмично подергивался в такт каким-то невидимым движениям ладони. Когда смех затих, Зан заговорил, но звук его голоса не давал оснований рассуждать о «философии целостности». Он взлетел выше, в нем появилась хрипотца, кончик языка сухо бил по нёбу. Он сидел совершенно спокойно, но я видел движение под кожей, пульс в основании горла. Вот когда моя собственная кровь побежала быстрее. Зан сказал:

– Стив, положи деньги на стол и принеси пистолет.

Неотрывно глядя Зану в глаза, Стив поднялся из-за стола.

– Ладно, – сказал он и двинулся через комнату.

Зан вскочил со стула.

– Я не дам тебе пустить деньги на твои делишки.

Не оборачиваясь и не останавливаясь, Стив ответил с такой же убежденностью:

– Я сам решу.

Ближайшим к Зану предметом оказалась пустая миска из-под каши. Он ухватил ее двумя пальцами и с силой запустил, как детскую летающую тарелку, вытянув для равновесия левую руку. Миска пролетела в нескольких сантиметрах от шеи Стива и врезалась в дверной косяк.

– Хватит! – закричала Дейзи. Так могла бы кричать уставшая и выведенная из терпения мать. Не сказав больше ни слова, она вышла из комнаты.

Мы глядели на ее удаляющуюся спину и покачивающиеся у пояса волосы. Она скрылась, и мы услышали ее шаги на лестнице. Джонни посмотрел на меня. Я знал, о чем он думает. Теперь вся ответственность за драку лежала на нас двоих. По правде говоря, на мне одном, потому что Джонни принялся сворачивать папироску, сокрушенно качая головой и вздыхая над своими трясущимися пальцами.

Стив развернулся и пошел назад к столу. Зан кинулся к нему, ухватил спереди за рубашу и попытался оттолкнуть к стене.

– Не начинай, – прерывисто дыша, сказал он. – Положи деньги на стол.

Но столкнуть Стива оказалось не так легко. Он был крепким, тяжелым и выглядел свирепым. Двое мужчин навалились друг на друга посреди комнаты. Наибольших усилий у них, казалось, требовало дыхание. Они стояли так близко, что в напряженном пространстве между ними могла бы, наверное, удержаться свеча с подсвечником.

– Весь дом на мне, я кормлю вас обоих. Убери свои лапы, – быстро проговорил Стив и, не дожидаясь уступок, схватил Зана левой рукой за горло.

Зан отвел назад свободную руку и, размахнувшись, ударил Стива по лицу. Звук был такой, словно лопнул воздушный шарик, а силы удара хватило, чтобы мужчин отбросило в разные стороны. На мгновение они застыли, а потом решительно сцепились в захвате. Четырехногое животное, раскачиваясь из стороны в сторону, двигалось к столу. Мы с Джонни слышали только сдерживаемое рычание. Опустив головы, закрыв глаза, раздвинув губы, они ощупывали, тискали и обнимали друг друга, как любовники.

Что-то должно было измениться. Зан схватил Стива за подбородок и попытался запрокинуть назад его голову. Никакие шейные мускулы не

могли тягаться с силой этой ужасной руки, но тем не менее попытка сопротивления оказалась достойной, потому что Стив зацепил согнутым большим пальцем ноздрю Зана и нацелился ему в глаз, вынудив отклониться насколько возможно. Голова Стива запрокидывалась все дальше, и следующим движением Зан схватил его за голову – правой рукой за шею, а левой за правую, чтобы усилить захват. Я двинулся к ним. Стив медленно валился на колени. Он стонал и хватал руками воздух, а потом слабо застучал Зану по ногам.

Тыльной стороной ладони я похлопал Зана по лицу и, присев на корточки, прокричал ему в ухо:

– Так ты убьешь его. Ты этого добиваешься?

– Не твое дело. Давно пора было это сделать.

Я потянул его за ухо, чтобы заставить повернуть голову и посмотреть на меня.

– Если он умрет, остаток дней ты проведешь за решеткой.

– Еще дешево отделаюсь.

– Джонни, – закричал я, – ты должен помочь.

Я увидел, что Дейзи вернулась в комнату. В руках она несла обувную коробку, а на ее лице была нечеловеческая усталость. Опущенные углы ее рта вызвали к нам, чтобы мы увидели, с чем ей приходилось сосуществовать – все мужчины в ее жизни борются за механистическое превосходство, за выигрыш в силе, который позволит одному сломать другому шею.

– Забирай, – прошептала она. – Забирай, забирай!

Я поднялся на ноги и взял у Дейзи коробку. Она оказалась тяжелой, и мне пришлось обеими руками поддерживать ее хлипкое картонное дно. Стив снова застонал, и я посмотрел на Джонни. Он ответил мне мольбой во взгляде и кивнул в сторону выхода.

– Правильно, – твердо сказала Дейзи. – Лучше идите.

Ее привычная усталость заставила меня задуматься, не присутствуем ли мы при каком-то домашнем ритуале или обычной прелюдии замысловатого сексуального альянса. С другой стороны, я все-таки считал, что мы должны спасти Стиву жизнь.

Джонни тянул меня за рукав. Мы вместе сделали пару шагов по направлению к выходу. Он пробормотал мне на ухо:

– Если что случится, не хотел бы я выступать свидетелем.

Я понял, что он имеет в виду, поэтому мы кивнули Дейзи и, бросив прощальный взгляд на попавшую в клещи голову Стива, быстрым шагом прошли через темный коридор к входной двери.

Как только мы оказались в машине, Джонни достал папироску и закурил. Из всех видов наркотиков этот сейчас подходил мне меньше всего. Куда лучше остановиться где-нибудь и выпить виски, чтобы успокоить нервы. Я включил зажигание и помчался обратно к шоссе.

– Забавная штука, – протянул Джонни, выпуская дым. – Я не раз бывал у них, и мы всегда обсуждали какие-нибудь интересные темы.

Я выехал на дорогу и уже собирался ответить, как вдруг зазвонил телефон. Обычно я оставлял его заряжаться от прикуривателя.

Это был Перри.

– Джо, это ты?

– Да.

– Я в твоей квартире, сижу тут с Клариссой. Передаю ей трубку. Слышишь? Джо? Ты слышишь?

Мне показалось, на секунду или две я потерял сознание. В ушах, как я догадался, гудел работающий двигатель. Машина набрала девяносто километров в час, а я не переключил передачу. Со второй передачи я перешел на четвертую и сбросил скорость.

– Да.

– Теперь слушай внимательно, – сказал Перри. – Даю Клариссу.

– Джо? – Я сразу понял, что она напугана. Ее голос звучал выше обычного. Она пыталась держать себя в руках.

– Кларисса, как ты там?

– Немедленно приезжай домой. Ни с кем не разговаривай. Не звони в полицию. – Монотонностью голоса она давала мне понять, что повторяет чужие слова.

– Я в Суррее. Приеду не раньше чем через два часа.

Я слышал, как она передает мои слова Перри, но не разобрал, что он ей ответил.

– Немедленно приезжай.

– Что там у вас происходит? С тобой все в порядке?

Она повторяла, как автомат:

– Немедленно приезжай. Один. Он будет смотреть в окно.

– Я сделаю все, что он говорит. Не волнуйся, – И добавил: – Я люблю тебя.

Я услышал, как трубка перешла в другие руки.

– Ты все понял? Ведь ты меня не разочаруешь?

– Слушай, Перри, – сказал я. – Я сделаю все, что ты хочешь. Я приеду через два часа. Не буду ни с кем говорить. Только не трогай ее. Прошу тебя, не трогай.

– Все зависит от тебя, Джо, – сказал он, и связь прервалась.

Джонни смотрел на меня.

– Проблемы дома? – сочувственно пробурчал он.

Я открыл окно со своей стороны и несколько раз глубоко вдохнул свежий воздух. Мы проехали паб и углублялись в лес. Свернув на маленькую дорожку, я проехал по ней не меньше мили, пока мы не уперлись в небольшую полянку, на которой стоял развалившийся дом. Повсюду были приметы ремонтных работ – бетономешалка, горка досок и кирпичей, и ни души вокруг. Я заглушил мотор и достал с заднего сиденья обувную коробку.

– Ну что, взглянем на это средство.

Сняв крышку, мы заглянули внутрь. До этого я ни разу не стрелял из пистолета и даже не видел его вблизи, но предмет, частично скрытый обрывками старой белой рубахи, оказался знакомым по фильмам. Только ощущение было непривычным. Он оказался легче, чем я ожидал, суше и теплее под рукой. Я думал, он будет маслянистым, холодным и тяжелым. И он не излучал мистического смертоносного потенциала, когда я поднял его и прицелился сквозь лобовое стекло. Это было очередное инертное устройство, которое разворачивают дома после возвращения из магазина – мобильный телефон, видеомаягнитофон, микроволновая печь – и размышляют, насколько трудно будет его оживить. Отсутствие инструкции по эксплуатации на шестидесяти четырех страницах даже казалось преимуществом. Я перевернул пистолет, пытаясь разобраться в его устройстве. Джонни запустил руку в тряпки, вытащил аккуратную коробочку из красного картона и сразу открыл.

– Десятизарядный. – Он забрал у меня пистолет, отодвинул крышечку в основании ствола и вставил магазин. Желтым указательным пальцем ткнул в предохранитель. – Дави до щелчка. – Он покрутил пистолет в руках. – Классная штука.

Стив нес какую-то околесицу. Обычный браунинг, девять миллиметров. Мне нравится пластиковая рукоятка. Лучше, чем из красного дерева.

Мы выбрались из машины, и Джонни вернул мне пистолет.

– Я и не знал, что ты разбираешься в оружии, – сказал я.

Мы миновали разрушенный дом и углублялись в лес.

– Какое-то время я этим занимался, – лениво протянул он. – Тогда бизнес этого требовал. Как-то по делам я оказался в Штатах, был в Теннесси. На Кугар-Ранч. Половина из тамошних ребят наверняка были нацистами. Точно не знаю. Но они всегда следовали двум тактическим правилам. Во-первых, всегда побеждать. Во-вторых, всегда жульничать.

В другое время я, может быть, увлекся бы рассуждениями о перспективах эволюции, заимствованными из теории игр, что любое социальное животное, которое всегда жульничает, обречено на вымирание. Но сейчас мне было нехорошо. Я чувствовал слабость в ногах и позывы кишечника. Ступая по шуршащим прошлогодним листьям, я прикладывал постоянное и осознанное усилие, чтобы удерживать анальный сфинктер в сжатом состоянии. Сейчас мне нельзя было тратить время впустую. Я должен был оказаться в Лондоне как можно быстрее. Но я хотел быть уверенным, что знаю, как обращаться с пистолетом.

– По-моему, нормальное место, – сказал я. Если бы я сделал еще хоть шаг, я бы испортил штаны.

– Возьмись обеими руками, – советовал Джонни. – С непривычки отдача будет слишком сильной. Поставь ноги пошире и равномерно распредели свой вес. Медленно выдохни и нажми на курок.

Я все так и сделал, и пистолет, выстрелив, взвился в моих руках. Мы подошли к дереву и не сразу отыскивали отверстие от пули. Пуля на несколько сантиметров ушла в гладкий ствол, ее почти не было видно. Пока мы возвращались к машине, Джонни рассуждал:

– Дерево – это одно, а навести пистолет на живого человека – совсем другое. В сущности, ты даешь ему право убить тебя.

Я оставил его ждать на переднем сиденье, а сам схватил газеты и вернулся за деревья, где каблуком прокопал неглубокую ямку. Сидя над ней со спущенными штанами, я пытался успокоиться, перебирая сухие листочки, и мял в пальцах горсть земли. Некоторые высматривают свое далекое будущее среди звезд и галактик; я предпочитаю земные, биологические частички. Поднеся к лицу горсть земли, я пригляделся. В черном, жирном и рыхлом перегное я разглядел двух муравьев, вилохвоста и какую-то темно-красную червеобразную букашку с кучей бледно-коричневых ножек. Они были шумными гигантами этого нижнего мира, а чуть дальше пределов видимости находился бурлящий мир кольцевых червей – хищников и любителей падали, которым они идут в пищу; но даже они считались гигантами по отношению к обитателям микроскопического царства паразитических грибов и бактерий – сейчас в моей ладони их, наверное, помещается миллионов десять. Слепая потребность этих

организмов в поглощении и выделении обеспечила плодородие почвы, а следовательно, жизнь растений, деревьев и других созданий, живущих среди них, число которых в один прекрасный день пополнили мы сами. Я рассчитывал успокоить нервы, напомнив себе, что, при всех наших заботах, мы продолжаем оставаться частью природной зависимости – поскольку животные, употребляемые нами в пищу, паслись на траве, вскормленной, как и все наши овощи и фрукты, плодородием земли, которое создали эти организмы. Но даже усевшись на корточки, чтобы удобрить здешнюю лесную подстилку, я не мог поверить в изначальную многозначительность этих колоссальных циклов. Прямо посреди выделяющих кислород деревьев выдыхал яд мой автомобиль, на котором я проеду тридцать пять миль по загруженным дорогам и окажусь в огромном городе, где в северной его части, в моей квартире, меня ждет сумасшедший, де Клерамбо, мой личный де Клерамбо и испуганная женщина, которую я люблю. Что из всего вышеперечисленного является необходимой составляющей углеродного цикла или способствует связыванию азота? Мы перестали быть звеньями великой цепи. Собственная неразбериха заставила нас покинуть райский сад. Мы занимались беспорядочным саморазрушением. Я поднялся, застегнул ремень и с усердием домашней кошки забросал ямку землей.

Поглощенный собственными делами, я с удивлением обнаружил, что Джонни опять уснул. Я разбудил его и, объяснив, что мне нужно оказаться дома как можно быстрее, предложил высадить его на какой-нибудь железнодорожной станции. Джонни согласился.

– Только вот что, Джо. Если попадешь в передрагу и дойдет до полиции, не упоминай меня в связи с пистолетом, лады?

Я похлопал по карману с пистолетом и повернул ключ зажигания.

Включив дальний свет, я рванул по узкой дороге, уже без всяких церемоний со встречными машинами. Водители с мрачными лицами шарахались от меня на обочину. Когда мы выехали на шоссе, Джонни закурил третий за день косячок. Я не сбавлял скорость ниже ста шестидесяти и время от времени поглядывал в зеркало заднего вида на предмет патрульных машин. Позвонил домой, но никто не ответил. Я размышлял, не обратиться ли в полицию. Хорошо, если бы мне удалось найти кого-то, кто пошлет элитную группу, которая сумеет проникнуть к Перри и обезвредить его, пока он не наделает дел. Но в лучшем случае я смогу связаться лишь с каким-нибудь Линли или Уоллесом или другим усталым бюрократам.

Я остановился в Стритеме на Хай-стрит, рассчитался с Джонни и высадил его. Держась рукой за дверцу, он нагнулся ко мне.

– Когда пистолет тебе будет не нужен, не прячь его в доме и не пытайся продать. Брось в реку, и дело с концом.

– Спасибо тебе за все, Джонни.

– Я беспокоюсь за тебя, Джо, но я рад, что меня это не касается.

Хотя полдень уже миновал, движение в центре Лондона оказалось на удивление вялым, и я добрался до своего района через полтора часа после звонка. Повернув за дом, я поставил машину там. С этой стороны дома, у мусорных баков, находился запертый пожарный выход, ключи от которого были только у жильцов. Проникнув туда, я бесшумно поднялся на крышу. Я не бывал здесь с утра после смерти Джона Логана, после первого звонка Перри. На столе еще оставалось пятно от моего кофе. Свет был слишком ярким, и, чтобы что-то увидеть через окно в крыше, мне пришлось опуститься на колени и приложить ладонь к стеклу. С моего места просматривался коридор и часть кухни. Я разглядел сумку Клариссы и больше ничего.

Через второе окно я увидел тот же коридор и кусок гостиной. К счастью, дверь была широко раскрыта. Кларисса сидела на диване, лицом к окну, но мне не удалось определить выражение ее лица. Перри на деревянном кухонном стуле сидел напротив. Я видел его спину и догадался, что он о чем-то разглагольствует. До него было не больше десяти метров, и я представил себе, как стреляю в него прямо сейчас, несмотря на близко сидевшую Клариссу, но не был уверен, что смогу точно прицелиться, и не настолько разбирался в пистолетах, чтобы предугадать, как оконное стекло изменит траекторию пули.

Эта фантазия почти не имела отношения к настоящему пистолету, который начал оттягивать мне карман. Я вернулся в машину, подъехал к переднему входу и, вылезая, надавил на клаксон. Перри подошел к окну и встал, наполовину скрывшись за занавеской. Он посмотрел вниз, наши взгляды встретились, только обычная перспектива изменилась ровно наоборот. Поднимаясь по ступенькам, я ощупывал пистолет, тренировался ставить и снимать его с предохранителя. Коснувшись звонка, я вошел. Я слышал, как сердце колотится под рубашкой, а от прилившей крови изображение подрагивало у меня перед глазами. Когда я звал Клариссу, мой распухший язык еле протиснулся между «к» и «л».

– Мы здесь! – крикнула она, а потом ее голос предостерегающе взвился: – Джо... – но был оборван шиканьем Перри.

Я медленно прошел в гостиную и остановился в дверях. Было страшно спровоцировать его на какие-то неожиданные действия. Он отодвинул кухонный стул в сторону и пересел на диван, справа от Клариссы. Мы с

Клариссой взглянули друг на друга, она на миг прикрыла глаза, и я понял, что все плохо, он плохой, будь осторожен. С новой стрижкой он казался молодым и неотесанным. Его руки дрожали.

С момента моего появления никто не проронил ни звука. Чтобы нарушить тишину, я произнес:

– С хвостиком мне нравилось больше.

Он глянул вправо, туда, где на плече сидело невидимое существо, и лишь потом посмотрел на меня.

– Ты знаешь, зачем я здесь.

– Что ж, – произнес я и сделал пару шагов в комнату.

Его голос треснул на высокой ноте.

– Не подходи ближе. Я велел Клариссе не двигаться.

Я рассматривал на нем одежду, размышляя об оружии. У него что-то должно быть. Он не пришел бы убивать меня голыми руками. Легко можно было одолжить пистолет или купить его у людей, которых он нанимал. На его бежевой хлопковой куртке не было никаких явных выпуклостей, хотя из-за ее свободного покроя трудно было судить наверняка. Из нагрудного кармана выглядывал краешек чего-то черного, возможно расчески. На нем были облегающие джинсы и серые кожаные ботинки; выходит, что бы у него ни было, оно лежало в куртке. Он придвинулся еще ближе к Клариссе, так что своей левой ногой коснулся ее правой. Он почти вдавил ее в подлокотник. Кларисса сидела совершенно неподвижно, руки сложены на коленях, все тело излучает ужас и отвращение от соприкосновения с Перри. Она чуть-чуть повернула к нему голову, готовясь к любым его действиям. Она не двигалась, но пульсирующая мышца и натянутое сухожилие у основания шеи означали, что она словно пружина, готовая рвануться прочь.

– Теперь, когда я пришел, – сказал я, – можешь отпустить Клариссу.

– Вы нужны мне оба, – быстро произнес он.

Руки у него так тряслись, что он был вынужден сжать их. Бисеринки пота собирались на его лбу, и мне казалось, я слышу сладковатый травянистый запах. Что бы он ни задумал, это должно было случиться. Даже теперь, когда он был прямо напротив меня, идея наставить на него пистолет казалась абсурдной. Мне сильно захотелось сесть, внезапно навалилась страшная усталость. Мне хотелось прилечь где-нибудь и отдохнуть. Я валился с ног от избытка адреналина, который должен вроде дарить небывалые силы. Не в силах сдержаться, я зевнул, и Перри, должно быть, решил, что мне все нипочем.

– Ты силой ворвался в мой дом, – сказал я.

– Я люблю тебя, Джо, – просто ответил он, – и это переломало мою

жизнь. – Он посмотрел на Клариссу, словно извиняясь за повтор. – Мне ничего не было нужно, и ты это знаешь. Но ты ведь не оставил бы меня в покое, и я понял, что это неспроста. Ты должен был руководить мной ради какой-то цели. Ты взывал к Богу и боролся с собой, и мне казалось, ты просишь меня о помощи... – Он запнулся и поглядел через плечо в поисках следующей мысли.

Я не чувствовал, что теряю бдительность, но мое беспокойство из-за его близости к Клариссе все возрастало. Почему он не дает ей пошевеливаться? Я вспомнил, как, навещая Джин Логан, я вдруг ощутил ужас, осознав, что значило бы для меня потерять Клариссу. Должен ли я немедленно что-то сделать? Тут я вспомнил предостережение Джонни. Как только я вытащу пистолет, я дам Перри разрешение на убийство. Может, в ходе разговора опасность рассосется сама собой. Одно я знал наверняка – нельзя ему перечить.

Кларисса заговорила тихим, тоненьким голосом. Она рисковала, пытаясь его разубедить.

– Уверена, Джо не хотел причинять вам вреда.

Пот с Перри катился уже градом. Он собирался что-то сделать. Выдавил из себя смешок.

– С этим можно поспорить.

– На самом деле он очень боялся вас, когда вы стояли там, под окнами, и всех этих писем. Он совсем не знал вас, а тут вдруг вы появились...

Перри помотал головой из стороны в сторону. Это был непроизвольный спазм, доведенные до крайности нервные подглядывания вбок, и мне показалось, что мы заглянули в самую суть его души; он должен был отсечь факты, не укладывающиеся в систему. Он сказал:

– Вы не понимаете. Оба не понимаете, но вы – особенно.

Я сунул правую руку в карман и попытался нащупать предохранитель, но слишком нервничал и у меня ничего не вышло.

– У вас нет ни малейшего представления обо всем этом. Откуда ему у вас быть? Но я пришел не для того, чтобы об этом разговаривать. Все это в прошлом. Не стоит и обсуждать, да, Джо? Все кончено, не так ли? У всех нас – Он провел пальцем вдоль потного лба и громко выдохнул. Мы ждали. Подняв голову, он посмотрел на меня. – Я не буду больше говорить об этом. Я не для того пришел. Я пришел попросить тебя кое о чем. Думаю, ты знаешь о чем.

– Может, и знаю, – солгал я.

Он глубоко вздохнул. Мы приближались к развязке.

– Прощение? – произнес он с восходящей вопросительной интонацией. – Прости меня, Джо, за вчерашнее, за то, что я пытался сделать.

Я так удивился, что не сразу ответил. Вынув руку из кармана, я сказал:

– Ты пытался убить меня. – Я хотел услышать, как он сам скажет это. Чтобы и Кларисса услышала.

– Я все спланировал, я заплатил деньги. Раз ты не хотел отвечать на мою любовь, я думал, будет лучше, чтоб ты умер. Это было помешательство, Джо. Я хочу, чтобы ты простил меня.

Только я собрался попросить его отпустить Клариссу, когда он вдруг повернулся к ней, выхватил из нагрудного кармана нож с коротким лезвием и прочертил им в воздухе широкий полукруг. Я не успел пошевелиться. Она обеими руками закрыла горло, но он не собирался нападать. Он приставил острие ножа ко впадине под мочкой собственного уха. Рука, державшая нож, тряслась, он давил довольно сильно. Перри повернулся, чтобы продемонстрировать это Клариссе, а затем мне.

Его мольба была словно нарастающий вой. Непереносимый звук.

– Ты никогда ничего не давал мне. Пусть у меня останется хоть это. Я все равно собирался это сделать. Пусть это одно останется у меня от тебя. Прощение, Джо. Если ты простишь меня, простит и Господь.

От удивления я оступел, облегчение спутало мои чувства. Происходящее было так необычно, все перевернулось разом, и он не собирался нападать ни на Клариссу, ни на меня, и даже его намерение перерезать себе глотку на наших глазах доходило до нас с какой-то бесчувственной медлительностью. Я ухитрился сказать:

– Брось нож, тогда поговорим.

Он покачал головой и, кажется, надавил еще сильнее. Кровь тонкой струйкой закапала с кончика ножа.

Кларисса, кажется, тоже была парализована. Затем она протянула руку к его талии, словно рассчитывая отодвинуть его прикосновением пальца.

– Ну же, – сказал он. – Ну пожалуйста, Джо.

– Как я могу простить тебя, если ты сумасшедший?

Я целил в его правое плечо, подальше от Клариссы. В замкнутом пространстве выстрел, казалось, уничтожил все остальные чувства, комната озарилась, как белый экран. Следующее, что я увидел, был нож на полу и Перри, который тяжело отшатнулся, держась рукой за раздробленный локоть. Его лицо побелело, рот перекосился от ужаса.

В мире, где логика является двигателем чувств, как раз в этот момент Кларисса должна была встать, мы двинулись бы навстречу друг другу и

обнялись, бормоча сквозь слезы и поцелуи примирительные слова прощения и любви. Мы должны были повернуться спиной к Перри, мысли которого заклинило на алмазном острие боли, на разбитых локтевой и лучевой костях (полгода спустя я нашел под диваном кусочек кости), должны были забыть о нем, и, когда полицейские и врачи «скорой помощи» уводили бы его прочь, когда, не переставая разговаривать и обниматься, мы дважды опустошили бы чайник, мы должны были вернуться в спальню, чтобы лечь лицом друг к другу и снова очутиться в чистом и знакомом пространстве. А после этого мы стали бы прямо там обсуждать нашу новую жизнь.

Но эта логика противоречила бы человеческим законам. Существовали очевидные и второстепенные причины того, что кульминацией этого дня не стал специфический хеппи-энд. Сюжетная недоразвитость, особенно в кино, своими хеппи-эндами вводит нас в заблуждение, заставляя позабыть, что длительный стресс губителен для чувств. Притупляющая сила страха огромна. Моменты радостного освобождения от кошмара не так легко даются. За последние двадцать четыре часа мы с Клариссой увидели неудачные покушения на убийство и самоубийство. Полдня Перри угрожал Клариссе ножом. Когда она говорила со мной по телефону, он держал лезвие у ее щеки. Что касается меня, то, не считая стресса, накопившаяся в связи с последними событиями зловещая определенность не могла мгновенно смениться спокойствием. Наоборот, я чувствовал, как давит и сжимает меня чувство обиды. Это был бесстрастный гнев, ни держать в себе, ни выплеснуть который я не мог, понимая, что моя правота в данном случае бросает тень на меня же.

Кроме того, никогда не бывает лишь одной логической системы. Полиция, к примеру, как всегда увидела все в другом свете. Неизвестно, что они приготовили для Перри, но, явившись в квартиру через двадцать минут после выстрела, они совершенно определенно знали, что связывает их со мной. Незаконное владение оружием и умышленное нанесение телесных повреждений. Перри потихоньку унесли на носилках, а полицейский констебль и сержант тем временем, торжественно и даже слегка извиняясь, брали меня под арест. Из обычной процедуры задержания, когда дело бывает связано с оружием, было сделано одно исключение, и мне позволили спуститься вниз без наручников. На лестнице нам встретились поднимающиеся фотограф-криминалист и судебный эксперт. Обычное дело, заверили меня, на случай, если один из нас изменит показания. В третий раз за последние сутки и в жизни я оказался в участке. Еще одно случайное группирование. Клариссу пригласили в качестве свидетеля. У

инспектора Линли был выходной, но папку с моими показаниями нашли и изучили, поэтому со мной обращались вполне дружелюбно. Тем не менее на ночь я был оставлен под арестом и отправлен в камеру по соседству с вопящим пьяницей, а наутро, после долгого допроса, меня отпустили под залог, обязав явиться через шесть недель. Позднее в районную прокуратуру поступила докладная записка Линли, и никаких обвинений мне предъявлено не было.

Так что той ночью не было ласковых слов, никто не сидел допоздна за кухонным столом и не предавался любви, так объединившей нас в ночь после смерти Джона Логана. Самым неприятным было видение, преследовавшее меня всю бессонную ночь в камере и последующие несколько дней. Я видел лежащий на полу нож, видел Перри, который падал на диван, схватившись за свой локоть, – а потом видел лицо Клариссы. Она вскочила и смотрела на пистолет в моей руке с таким удивлением и отвращением, что мне казалось, нам никогда не удастся переступить через то мгновение. Позже мои худшие подозрения начали оправдываться. Худшее из того, что могло случиться, случилось. Я набрал угнетающее количество очков. Может быть, между нами действительно все было кончено.

Дорогой Джо, мне очень жаль, что мы поссорились. Я не иронизирую, мне действительно искренне жаль. Мы всегда гордились своим умением обходиться без периодических ссор, о необходимости и терапевтическом эффекте которых нам не раз рассказывали знакомые пары. Я ужасно злилась вчера ночью. Мне была противна собственная злость, а еще я была испугана твоей злостью. Но раз так вышло, скрывать это было бы глупо. Ты снова и снова повторял, что я должна как следует перед тобой извиниться за то, что не встала «плечом к плечу» вместе с тобой против Джеда Перри, за то, что сомневалась в твоей нормальности, за то, что не поверила в твой рационализм, дедукцию и в твое исследование по поводу его состояния. Думаю, вчера я несколько раз просила у тебя прощения и прошу еще раз. Я считала Перри напыщенным и безвредным оригиналом. Хуже того, я считала, что он существует только в твоём воображении. Мне и в голову не приходило, что он может быть так опасен. Я была абсолютно не права, и мне очень, очень жаль.

Но вот что я пыталась сказать тебе прошлой ночью: твоя правота – вопрос неоднозначный. Я не могу отделаться от мысли, что итог мог быть не столь ужасен, поведи ты себя по-другому. Не говоря о том, что вся эта история, безусловно, обошлась нам слишком дорого при всей твоей правоте. Плечом к плечу? Ты начал все сам, Джо. С самого начала, еще ничего толком не зная о Перри, ты принялся с неким странным упорством накручивать себя по его поводу. Помнишь, как он позвонил впервые? Ты ждал два дня, прежде чем сказать мне об этом. На следующий день ты снова завел старую песню о возвращении в «большую науку», хотя мы давно решили, что в этом нет смысла. Неужели ты действительно считаешь, что Перри не имел к этому отношения? В тот же вечер ты ушел, хлопнув дверью у меня перед носом. Прежде между нами ничего подобного не происходило. Ты становился все более возбужденным и одержимым. Ты не желал говорить со мной ни о чем другом. Наша сексуальная жизнь практически сошла на нет. Я не собираюсь развивать эту тему, но обыск, который ты произвел в моем столе, я расцениваю как предательство. Разве я давала тебе повод для ревности? Чем больше тебя интересовал Перри, тем глубже ты уходил в себя и тем сильнее отдалялся от меня. Ты стал одержимым, нервным и очень одиноким. У тебя появилась сверхзадача, миссия. Может быть, это стало суррогатом науки, которой ты

хотел заниматься. Ты провел исследование, пришел к логическим умозаклучениям, получил верное представление о многих вещах, но, увлекшись процессом, ты забыл взять меня с собой, забыл, что мне можно доверять.

Есть еще кое-что, о чем я пыталась сказать тебе прошлой ночью, но ты не заметил за собственными выкриками. Вечером, после того несчастного случая, из всех твоих слов было ясно, что ты ужасно переживаешь, не ты ли первым выпустил веревку. Я понимала, что ты должен противостоять этой мысли, опровергнуть ее, смириться с ней – что угодно. Я думала, мы вернемся к этой теме. Думала, что смогу помочь тебе. Насколько я понимаю, тебе нечего стыдиться. Наоборот, я считаю, в тот день ты вел себя смело и достойно. Но сразу после падения твои сомнения заслонили все остальное. Не допускаешь ли ты, что Перри подарил тебе возможность спрятаться от чувства вины? Ты принялся перетаскивать свое беспокойство в новую ситуацию, бежать от своей тревоги, зажав уши, когда мог бы применить к происходящему всю силу рационального анализа, которым ты так гордишься.

Согласна, я никогда и не предполагала, что Перри абсолютно сумасшедший. В то же время могу себе представить, откуда у него взялось впечатление, что ты его направляешь. Он кое-что понял в тебе. С самого первого дня ты видел в нем оппонента и готовился нанести ему поражение, за что и заплатил – мы заплатили – так дорого. Может быть, если бы ты позволил мне вмешаться, он не дошел бы до такого состояния. Помнишь, как в самом начале – в тот вечер, когда ты ушел, разозлившись на меня, – я предложила позвать его для разговора? Ты недоверчиво взглянул на меня, а я до сих пор абсолютно уверена, что на тот момент Перри еще не знал, что наступит день, когда он будет желать твоей смерти. Вместе мы могли бы столкнуть его с дорожки, на которую он ступил.

Но ты пошел своим путем, ты отказал ему во всем, и от этого его фантазии, а потом и ненависть расцвели пышным цветом. Вчера ты спрашивал, понимаю ли я, что ты спас мне жизнь. Ты был смел и изобретателен. Ты был просто великолепен. Но я не верю, что Перри неизбежно нанял бы убийц или принялся бы угрожать мне ножом. Я думала, скорее он причинит вред себе. Как я ошибалась и как была права! Ты спас мою жизнь, но, может быть, ты и подверг ее опасности – когда связался с Перри, неадекватно реагировал на него, предугадывал каждый его следующий шаг, тем самым подталкивая его.

Посторонний человек вторгся в нашу жизнь, и первое, что произошло, – ты стал для меня посторонним человеком. Ты вычитал, что у него

синдром де Клерамбо (если это действительно болезнь), и предположил, что он может ожесточиться. Ты оказался прав, ты действовал решительно и действительно можешь этим гордиться. Но что насчет всего остального?

Почему это случилось, как это повлияло на тебя, могло ли быть по-другому, что стало с нами, – сейчас остались только эти вопросы, о них теперь и надо думать.

Наверное, какое-то время нам лучше пожить отдельно. По крайней мере, так лучше для меня. Люк предложил мне пожить в его старой квартире на Кэмден-сквер, пока он подыскивает новых жильцов. Не знаю, куда это нас заведет. Мы были так счастливы вместе. Так страстно и преданно любили друг друга. Мне всегда казалось, что наша любовь должна длиться вечно. Может, так оно и будет. Пока не знаю.

Кларисса

Через десять дней после выстрела я съездил в Уотлингтон на встречу с Джозефом Лейси. На следующий день с утра я договорился со всеми по телефону, а днем отправился в ближайший итальянский магазинчик купить еды для пикника. Набор не сильно отличался от предыдущего: круг моццареллы, чиабатта, маслины, помидоры, анчоусы, а для детей – простая пицца «Маргарита». На следующее утро я погрузил провизию в рюкзак вместе с двумя бутылками кьянти, минеральной водой и шестью банками кока-колы. Было прохладно и облачно, но с запада по небу тянулся тонкий голубой просвет, а прогноз погоды обещал сильную жару, которая простоит всю неделю. Я заехал в Кэмден-Таун за Клариссой. Когда накануне она услышала историю Лейси, она настояла на том, чтобы ехать со мной в Оксфорд. В качестве аргумента она сказала, что мы вместе впутались в эту историю и, каковы бы ни были наши отношения, она желает присутствовать при развязке. Она, должно быть, высматривала мою машину из окна, потому что, стоило мне подъехать, появилась на ступеньках дома своего брата. Я вышел из машины и смотрел на нее, размышляя, как нам следует поздороваться. Мы не виделись с того вечера, когда я отказался донести ее чемоданы с одеждой и книгами до такси. Небо все светлело, и, прислонившись к открытой дверце, я вдруг почувствовал боль – наполовину опустошение, наполовину ужас, – заметив, с какой скоростью близкий и родной мне человек старательно превращается в независимое существо. Новое ситцевое платье и зеленые босоножки. Даже кожа выглядела по-другому, бледнее, глаже. Мы обменялись «приветами» и неловким рукопожатием – все лучше, чем лицемерные поцелуи в щеку. Даже знакомый запах духов не принес облегчения. Из-за него наши новые прикосновения казались еще более мучительными.

Кларисса, наверное, чувствовала то же самое, потому что, когда мы тронулись, она слишком радостно воскликнула:

– Какая красивая куртка!

Я поблагодарил и похвалил ее платье. Меня беспокоило это совместное путешествие. Я не стремился к новой ссоре, правда, и забыть наших разногласий не мог. Но оказалось, что проведенная врозь неделя обеспечила нас нейтральными темами для разговора. Во-первых, моя встреча с Джозефом Лейси у него в саду и другие встречи, которые я организовал на сегодня, – говоря об этом, мы проехали все западные

предместья. Потом принялись обсуждать работу. Появилась новая ниточка, ведущая к последним письмам Китса. Кларисса вышла на одного японского ученого, который уверял, что двенадцать лет назад в Британской библиотеке читал неопубликованные письма дальней родственницы Северна, друга Китса. В каком-то из них упоминалось письмо к Фанни, отправлять которое Ките не собирался, «песнь неумирающей любви, не тронутой отчаяньем». Каждую свободную минутку Кларисса безуспешно пыталась отследить связи Северна. Переезд библиотеки на Кингз-Кросс осложнял поиски, и теперь она подумывала слетать в Токио и прочесть заметки ученого.

Что касается меня, по поручению воскресной газеты я съездил в Бирмингем на испытания электромобиля. Еще я должен был лететь в Майами, освещать конференцию по вопросам исследования Марса. Я принялся описывать, преувеличивая смеха ради, ужас пиарщиков, когда не удалось запустить электрический прототип, но Кларисса даже не улыбнулась. Может, она размышляла о центрифуге географии – Мейда-Вейл и Кэмден-Таун, Майами и Токио, – что вращала наши жизни в разные стороны. Пока мы спускались из Чилтернза в Оксфордскую долину, повисло молчание, поэтому я заговорил о колонизации Марса. Есть шанс, что там удастся высадить простейшие формы жизни, какие-нибудь лишайники, а потом морозоустойчивые деревья, и тогда, через много тысяч лет, там появится содержащая кислород атмосфера. Температура будет повышаться, и со временем Марс станет таким красивым уголком. Кларисса глядела сквозь лобовое стекло на дорогу, бегущую под колеса, на зеленеющие справа и слева поля и на заросли коровьей петрушки вдоль живых изгородей.

– Какой в этом смысл? Кругом такая красота, а мы по-прежнему несчастны.

Я не стал спрашивать, кто это «мы». Я опасался более личных разговоров в столь замкнутом пространстве. В прошлый раз мы ссорились долго и жестоко, хотя я совсем не кричал, что бы она ни говорила, а лишь немного повысил голос – как, впрочем, и она – и мерил гостиную шагами, в возбуждении лунатика. Это, да еще кровавое пятно на ковре, было наследством Перри – вскрытие, волна взаимных обвинений, которая в три часа утра развела нас, усталых и озлобленных, по разным кроватям. Письмо Клариссы отдалило нас друг от друга еще сильнее. Пятнадцать лет назад я воспринял бы его всерьез, решив, что в нем заключаются мудрость и деликатность, которых мне, всегда идущему напролом, не хватало. Исходя из данного мне образования я должен был бы почувствовать себя

ничтожеством. Но годы делают нас тем, что мы есть, и ее письмо я воспринял как какую-то нелепость. Мне не понравился его обиженный тон самооправдания, его тягучая липкая логика, осведомленность, прячущая за собой чрезвычайно избирательную память. Сумасшедший заплатил, чтобы меня убили в ресторане. Как это можно сравнивать с чьими-то «неразделенными» чувствами? Говорить, что я нервный, помешанный и не интересующийся сексом? А кто интересовался бы сексом на моем месте? Сплошные нездоровые и шумные протесты. Я не стремился к одиночеству. Просто никто не хотел меня слушать. И она, и полицейские только усиливали мою изолированность.

Все это я высказал ей по телефону в то утро, когда получил письмо, и, конечно, это не привело ни к чему хорошему. Теперь мы сидели в ограниченном двумя метрами пространстве, действительно плечом к плечу, но наши разногласия по сути остались непреодолимы. Я глянул на Клариссу и подумал, что она красивая и печальная. Или печаль исходила от меня?

Всю дорогу до центра Оксфорда через Хедингтон мы болтали о пустяках. Я оставил машину перед домом Логанов на том же самом месте, что и в прошлый раз. Деревья вдоль узкой улочки образовывали туннель зеленого света, кое-где пробитый сверкающими лучами солнца, и, вылезая из машины, я представил, какую скучную и полезную жизнь могут вести местные обитатели. Я взял рюкзак, и мы пошли к дому по выложенной кирпичом дорожке, как какая-нибудь семейная пара, приглашенная на чай. Кларисса даже пробормотала что-то одобрителное по поводу палисадника. Чары нарастающей обыденности вмиг рассыпались, когда на пороге перед нами появился малыш Лео, голый, но с неумело нарисованными полосками, пересекающими его грудь и переносицу. Он взглянул на меня, не узнав, и заявил:

– Я не тигр, я – волк.

– Ладно, волк, – сказал я. – А где твоя мама?

Она появилась за спиной Лео, направилась к нам со стороны кухни, все в той же мрачной отрешенности. Время несколько не излечило ее. Тот же заострившийся нос, та же краснота над верхней губой. Скомканный носовой платок она переложила из правой руки в левую, чтобы поздороваться с Клариссой и со мной. Миссис Логан предложила нам подождать в саду за домом, пока она заставит Лео умыться и одеться. Там мы обнаружили Рейчел, которая валялась в шортиках на траве и загорала. Услышав, что мы идем, она перевернулась на спинку и притворилась, что спит или упала в обморок. Кларисса присела на корточки и пощекотала

девочку травинкой под подбородком.

Зажмурившись от яркого солнца, Рейчел заверещала:

– Я тебя знаю, не думай, что тебе удастся меня рассмешить! – Когда терпеть больше не было сил, она села и обнаружила перед собой не меня, а Клариссу.

– Меня ты не знаешь, поэтому я заставлю тебя рассмеяться, – проговорила Кларисса. – И я не перестану, пока не угадаешь, как меня зовут.

Она снова принялась щекотать Рейчел, пока та не завопила: «Румпельштильцхен!» – и не взмолилась о пощаде. Когда я повернулся, чтобы пойти обратно в дом, она, взяв Клариссу за руку, предлагала ей посмотреть сад. Я заметил, что покосившаяся палатка теперь стояла на лужайке.

Джин Логан я обнаружил в прихожей, она стояла на коленях и застегивала на Лео сандалии.

– Ты уже большой мальчик, мог бы сам это делать, – говорила она.

Он гладил ее по голове.

– Но мне приятно, когда это делаешь ты, – произнес он, глядя на меня с улыбкой довольного собственника.

– Я хотел бы, чтоб вы узнали все из первых рук. Поэтому я должен знать, где мы устроим пикник.

Она поднялась и, вздохнув, описала уголок на Темзе в Порт-Медоу. А потом махнула рукой в сторону телефона у лестницы. Дождавшись, когда они с Лео выйдут в сад, я набрал номер колледжа и попросил соединить меня с профессором логики.

До прибрежной поляны оказалось не больше пяти минут пешком. Лео, ревнуя к новой подруге сестры, виснул на свободной руке Клариссы и распевал разрозненные обрывки из всех битловских песен, какие только мог вспомнить, чтобы помешать разговору. Рейчел просто заговорила громче. Мы с Джин Логан двигались в нескольких шагах позади их шумной тройцы. Джин сказала:

– Она хорошо с ними ладит. Вы оба хорошо ладите.

Я рассказал Джин о разных детях, с которыми мы общались, об отведенной для них комнате. Когда-то спальне Клариссы, а теперь уже просто комнате.

Когда мы поднялись на железнодорожный мост, перед нами неожиданно открылся просторный луг, усеянный лютиками. Джин Логан сказала:

– Знаю, я сама вас попросила, но теперь мне кажется, я не готова

пройти через это, особенно когда рядом Лео и Рейчел.

– Вы сможете, – заверил я. – Кроме того, все уже решено.

Сопровождаемые кучкой любознательных телят, мы двинулись к реке прямо по лютикам и прошли метров сто вверх по течению. Там, где приходящий на водопой скот вытоптал на берегу небольшой пляжик, мы и разбили свой лагерь. Джин расстелила огромную армейскую плащ-палатку, и, расставляя на ней припасы, я догадался, что она принадлежала Джону Логану и сопровождала его в экспедициях, о которых мы уже ничего не узнаем. Я налил дамам вина. Лео и Рейчел бегали по воде и дразнились, чтобы я полез за ними. Я снял ботинки и носки и, закатав брюки, двинулся в воду. Полжизни прошло с тех пор, как я в последний раз стоял вот так, чувствуя ногами глину и вдыхая острый речной запах воды и земли. Пока Кларисса и Джин беседовали, мы кормили уток, запускали плоские камушки и выстроили обнесенный рвом холм из грязи. В перерыве Рейчел незаметно подошла ко мне и сказала:

– А я помню, как ты к нам приходил и мы кое о чем говорили.

– И я помню.

– Давай тогда еще поговорим.

– Давай, – согласился я. – О чем же?

– Ты начинай.

Я задумался, потом взгляд мой остановился на реке.

– Представь себе мельчайшую частичку воды, которая только бывает на свете. Такую маленькую, что ее даже нельзя разглядеть...

Она зажмурила глаза, как тогда на лужайке.

– Как самая малюсенькая капелька, – сказала она.

– Гораздо мельче. Ее даже в микроскоп не увидишь. Ее почти что и нет. Два атома водорода и один – кислорода, слепленные вместе некоей чудесной и могущественной силой.

– А я могу ее увидеть! – закричала она. – Она сделана из стекла.

– Ну так вот, – продолжал я. – А теперь представь триллионы таких частичек, наклепленных одна на другую по всем направлениям, простирающимся почти до бесконечности. А теперь представь, что русло реки – это неглубокий длинный желоб, извилистый мутный склон, который сотни километров тянется к морю...

Продолжения не последовало. Копавшийся на берегу Лео вдруг испугался, что без него происходит что-то важное. Он примчался, собираясь облить меня водой, если я не приму его в игру.

– Как ты мне надоел! – закричала Рейчел. – Иди отсюда!

Но тут нас позвали есть, и по дороге Рейчел пребольно ущипнула меня

за руку, давая понять, что разговор не окончен.

Закуски располагали к беседам об Италии и каникулах. Дети пустились в воспоминания, явно запутанные, о пляже, где жили попугаи, о елках, растущих вокруг вулкана, а Рейчел вспомнила о лодке со стеклянным дном. Лео оспаривал возможность существования подобного предмета. Поскольку лодку взяли напрокат на день, восхождение на вулкан означало шестичасовой переход, большую часть которого Лео проехал на плечах; мы ощутили энергетическое присутствие Джона Логана, хотя даже малыш упоминал о нем лишь косвенно.

К концу завтрака взрослые размякли от вина и солнечного тепла. Детям стало с нами скучно, и, взяв по кусочку яблока, они отправились кормить пони. Джин рассказала, как Рейчел скучает по отцу, но отказывается говорить на эту тему.

– Я видела, как вы разговаривали на берегу. Она тянется к каждому приходящему в дом мужчине. Ей кажется, они дадут ей что-то, чего никогда не смогу дать ей я. Она такая доверчивая. Как я хотела бы знать, чего ей не хватает. Может, просто звука мужского голоса?

Пока она говорила, мы смотрели на детей. Они поднялись еще выше по реке. Оказавшись на приличном расстоянии от матери, Лео оглянулся и сунул свою ладошку сестре в руку. Джин начала было разговор о том, как замечательно дети заботятся друг о друге, но вдруг осеклась и воскликнула:

– Боже мой! Это она. Я чувствую, это она.

Мы выпрямились и обернулись, чтобы посмотреть. Я поднялся на ноги.

– Знаю, я сама вас попросила, – быстро проговорила Джин. – Но мне кажется, я не смогу с ней встретиться. Прошло слишком мало времени. С ней кто-то еще. Ее отец. Или адвокат. Я не хочу с ней говорить. Я думала...

Кларисса накрыла ее ладонь своей.

– Все будет хорошо, – пообещала она.

Пришедшая пара остановилась метрах в пятнадцати; они стояли бок о бок, дожидаясь, пока я подойду. Когда я шел к ним, девушка глядела в сторону. Я знал, что она студентка. Выглядела она лет на двадцать и была очень хорошенькой, просто воплощение худших фантазий Джин Логан. Мужчину, стоявшего рядом с ней, звали Джеймс Рейд, он преподавал логику в женском колледже. Мы обменялись рукопожатиями и представились. Профессор был полноват, чуть старше меня, лет пятидесяти. Он назвал имя своей студентки – Бонни Дидз. Пожимая ее руку, я с легкостью представил, как немолодой мужчина мог поставить все на карту. Если бы кто-то стал описывать при мне ее красоту, я все

пропустил бы мимо ушей, как клише – тот тип аппетитных голубоглазых блондинок, унаследовавших свои прелести от Мэрилин Монро. На ней были шорты из обрезанных джинсов и розовая рубашка с рваными краями. Профессор, словно для контраста, надел льняной костюм и галстук.

– Что ж, – вздохнул он, – чем раньше мы начнем, тем быстрее закончим.

Профессор перевел глаза на студентку, изучавшую сандалики на своих ногах (ногти выкрашены красным лаком). Она жалко кивнула.

Я подвел их к нашему импровизированному столу и представил всех друг другу. Джин не решалась взглянуть на Бонни, а та, в свою очередь, не сводила глаз с профессора. Я предложил им садиться. Бонни дипломатично присела, поджав ноги, на траве, рядышком с плащ-палаткой. Рейд нашел компромисс между гордостью и вежливостью, опустившись на одно колено. Он посмотрел на меня, и я кивнул. Он сложил руки на колене и на несколько секунд опустил глаза в землю, собираясь с мыслями, – привычка, свойственная многим лекторам.

– Мы пришли сюда, – изрек он наконец, – чтобы объясниться и извиниться. – Его слова адресовались Джин, но она не отрывала взгляда от живописных останков пиццы. – Вы переживаете страшную трагедию, непоправимую утрату, и, бог свидетель, меньше всего сейчас вам нужна новая боль. Шарфик, оставленный в машине вашего мужа, принадлежал Бонни, в этом нет сомнений...

Джин не дала ему договорить. Она вдруг с ненавистью взглянула на девушку.

– Тогда лучше пусть она сама расскажет.

Но Бонни была просто испепелена этим взглядом. Она не могла говорить, не отваживалась даже поднять голову. Рейд продолжал:

– Она действительно была там. Но там же был и я. Мы были вместе. – Он поглядел на Джин, ожидая, пока до нее дойдет. – Я расставляю все точки над «i». Бонни и я любим друг друга. Тридцать лет разницы, все выглядит глупо, но это так, мы любим друг друга. Мы скрывали наши отношения, и мы знаем, что в скором времени нам придется столкнуться со все возможными осложнениями и неприятностями. Мы никогда и представить себе не могли, что наши неуклюжие потуги на конспирацию обернутся таким несчастьем, и я надеюсь, что после моих объяснений вы сочтете возможным простить нас.

Откуда-то издали, с берега, до нас доносились голоса детей. Джин сидела очень тихо. Левой рукой она закрывала рот, словно не давая себе заговорить.

– Я, скорее всего, должен буду проститься с преподаванием в колледже и университете. Свой уход я приму как освобождение. Но я не требую от вас сочувствия. – Он посмотрел на девушку, стараясь поймать ее взгляд, но она его не поддержала. – До недавнего времени мы с Бонни придерживались правила: не появляться в Оксфорде вместе. Теперь мы плюнули на все правила. В день, когда все произошло, мы запланировали съездить на пикник в Чилтернз. Я договорился о переносе лекций и встретил Бонни на автобусной остановке на окраине города. Мы не проехали и километра, как моя машина сломалась. Мы дотолкали ее до стоянки на обочине, но не стали отказываться от планов на день. Машиной можно было заняться и позже. Мы решили доехать на попутной машине. Я съезжился у Бонни за спиной, эгоистично думая лишь о том, как бы кто-нибудь не узнал меня. Через пару минут перед нами остановилась машина, это был ваш муж, он ехал в Лондон. Он был очень любезен и дружелюбен. Если он и догадался о наших отношениях, то не выказал никакого осуждения. Скорее наоборот. Он даже предложил сделать небольшой крюк, чтобы высадить нас у Кристмас-Коммон. Так мы оказались в том месте и увидели мальчика и мужчину в воздушном шаре, попавших в беду из-за сильного ветра. Тогда я не оценил всей серьезности, я так и остался сидеть на заднем сиденье. Ваш муж резко выскочил из машины и, не сказав ни слова, помчался на помощь. Мы вылезли посмотреть. Я не в очень хорошей физической форме, а увидев нескольких бегущих на помощь людей, я счел разумным остаться на месте. Не думаю, что от меня было бы много пользы. Когда мы увидели, как рвется из рук эта чертова штука, мы поняли, что нужно попытаться помочь им удержать шар, и побежали. Но было уже поздно – остальное вы знаете.

Рейд мучительно подыскивал слова. Он говорил все тише, и мне пришлось наклониться вперед, чтобы расслышать.

– Когда он упал, мы были в ужасе. Нас охватила паника. Мы бежали по тропинке, пытаясь справиться с собой и решить, что делать дальше. Мы даже не вспомнили о машине, где остался наш пакет с едой и шарфик Бонни. Мы шли несколько часов. К стыду своему, должен признать, что среди прочего меня беспокоила мысль: если мы выступим в качестве свидетелей, мне придется объяснить, как я вместе со своей студенткой оказался буквально посреди чистого поля. Мы просто не знали, что делать.

Через пару часов мы обнаружили, что добрались до Уотлингтона. Мы зашли в паб справиться насчет автобусов или такси. Посреди бара стоял какой-то человек, он рассказывал бармену и группе завсегдатаев о происшествии с воздушным шаром. Мы узнали его – это был один из тех,

кто висел на веревках. Не удержавшись, мы рассказали ему, что тоже были там. Такие вещи как-то связывают людей, и ты просто должен выговориться. Люди, которых там не было, начинают казаться чужими. В конце концов мы отправились домой к этому Джозефу Лейси, чтобы как следует поговорить, и тогда же я рассказал о своих трудностях. Потом он отвез нас в Оксфорд, а по дороге высказал свои соображения. Он сказал, что свидетелей у происшествия и так достаточно. В наших показаниях нет особой нужды. Но он прибавил, что, если какие-то расхождения или конфликтные ситуации все же возникнут, он свяжется со мной, чтобы я мог принять другое решение. Ну, вот. Мы так и не обнаружили себя. Я знаю, это заставило вас страдать, и я глубоко, глубоко сожалею...

В этот момент я снова переключил внимание на луг, золотые ряды лютиков, стадо лошадей и пони, мчащихся галопом к деревне за дальним краем, отдаленный гул кольцевой автодороги и на парусную гонку по реке, бесшумную, но отчаянную. Дети, увлеченные разговором, медленно двигались к нам. Кларисса ненавязчиво собирала остатки пикника.

– Боже мой, – вздохнула Джин.

– Он был ужасно смелым, – заверил ее профессор, как когда-то и я сам. – Все остальные могут лишь мечтать о подобной смелости. Вопрос в том, сможете ли вы когда-нибудь простить нам наш эгоизм, нашу беспечность.

– Конечно смогу, – сердито произнесла она. В ее глазах стояли слезы. – Но кто простит меня? Единственный, кто мог бы, уже мертв.

Не дав ей договорить, Рейд принялся убеждать ее не вваливать вину на себя. Кляня себя, Джин заговорила громче. Увещевания профессора путались с ее возгласами. Душная сумятица фраз о прощении создавала атмосферу некоего легкого сумасшествия, сумасшествия кэрролловского Болванщика, здесь, на берегу, где сам Льюис Кэрролл, декан колледжа Крайстчерч, однажды развлекал обожаемых объектов своей одержимости. Я поймал взгляд Клариссы и мы обменялись полуулыбками, словно внося свою просьбу о взаимном прощении или по крайней мере терпимости в неистовую полифонию Джин и Рейда. Я пожал плечами, как будто хотел сказать, как и она в письме, что просто не знаю, что тут поделать.

Под конец все оказались на ногах. Остатки еды были убраны, плащ-палатка сложена, Бонни, так и не раскрывшая рта, уже отошла на несколько шагов, и по ее нетерпеливым движениям было件нятно, что ей хочется уйти. Либо она просто была небольшого ума – глупенькая натуральная блондинка, – либо презирала нас всех. Рейд беспомощно переминался, желая поскорее прийти ей на выручку и скованный, с другой стороны, необходимостью соблюсти приличия и достойно попрощаться. Я закинул

рюкзак на плечо, собираясь прощаться и трогаться, чтобы облегчить его муки, когда с двух сторон меня обступили Лео и Рейчел.

Я никогда не перестану испытывать благодарность и тихую гордость оттого, что ребенок берет меня за руку. Они отвели меня в сторону, на маленькую грязную полосу берега, где мы остановились, глядя на медленно набегающие коричневые волны.

– Ну, давай, – сказала Рейчел, – расскажи Лео. Повтори еще раз помедленнее, что ты там говорил про реку.

Приложение 1

Перепечатано из «Британского психиатрического обзора»

Роберт Уэнн, бакалавр медицины, член Королевского колледжа психиатров, и Антонио Камиа, магистр искусств, бакалавр медицины, дипломант Королевского колледжа акушерства и гинекологии, член Королевского колледжа психиатров

ГОМОЭРОТИЧЕСКАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ С РЕЛИГИОЗНЫМ ПОДТЕКСТОМ: КЛИНИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ СИНДРОМА ДЕ КЛЕРАМБО

Случай чистой (первичной) формы синдрома де Клерамбо зафиксирован у мужчины, основой заблуждений которого послужили религиозные убеждения. Также отмечены склонность к суициду и стремление нанести себе вред. Случай подтверждает мнение, выраженное в современных публикациях, о том, что настоящий синдром по сути является отдельной нозологической единицей.

Вступление

«Эротические заблуждения», «эротомания» и родственные патологии, связанные с любовью, описаны в литературе широко и разнообразно, от необычного поведения или безобидных выходок без психопатологических осложнений на одном конце спектра до странностей, сопровождаемых шизофреническими расстройствами, – на другом. Наиболее ранние ссылки можно найти у Плутарха, Галена и Цицерона, но, как следует из сделанного Енохом и Трезуаном обзора литературы (1979), сам термин «эротомания» с самого начала страдал от недостатка четкого определения.

В 1942 году де Клерамбо подробно обрисовал парадигму, носящую теперь его имя, синдром, который он определил как «les psychoses passionnelles», или «чистая эротомания», чтобы отличать его от других общепризнанных эротических параноидальных состояний. Пациент, или субъект, чаще всего женщина, охвачен неверным представлением, что

мужчина, объект, зачастую более высокого социального положения, любит ее. Количество контактов пациента с объектом при этом незначительно или равно нулю. Наличие у объекта супруга чаще всего воспринимается пациентом как незначительный факт. Его протесты, безразличие или даже ненависть рассматриваются как парадокс или противоречие; убеждение, что он «в действительности» любит ее, остается неизменным. Прочие выявленные убеждения включают в себя то, что объект никогда не сможет найти настоящее счастье без нее и что их отношения признаны и одобрены обществом. Де Клерамбо подчеркивал, что в чистой форме заболевания приступы носят определенный и неожиданный, даже взрывной характер, что является важным отличительным фактором; параноидальные эротические состояния, как он считал, возможно ошибочно (Енох и Трезуан, 1979), развиваются постепенно.

Центральное место в парадигме де Клерамбо занимает введенный им термин «фундаментальный постулат» пациенток, которые «убеждены в своих любовных связях с человеком, занимающим гораздо более высокое положение, который первым влюбился и первым начал ухаживания». Такие связи могут принимать форму тайных сигналов, прямых контактов и разработки «феноменальных ресурсов» для удовлетворения нужд пациентки. Она чувствует, что она следит за объектом своего заблуждения и охраняет его.

В одном из самых первых и выдающихся случаев де Клерамбо описывает пятидесятилетнюю француженку, которая верила, что король Георг V влюблен в нее. Начиная с 1918 года, во время нескольких посещений Англии, она настойчиво преследовала его:

Она часто ждала его снаружи у Букингемского дворца. Однажды она заметила движение занавески в одном из окон дворца и решила, что это тайный знак от короля. Она заявляла, что все обитатели Лондона знают о любви к ней, и обвиняла его в том, что он не позволяет сдавать ей жилье в Лондоне, вынуждает останавливаться не в том отеле, куда были доставлены ее вещи, и лично отвечает за пропажу ее багажа с деньгами и множеством его портретов... Она образно подытожила свою страсть к нему: «Король, возможно, испытывает ко мне ненависть, но он не в силах забыть меня. Никогда он не будет относиться ко мне равнодушно, как и я к нему... Он словно в тумане, когда причиняет мне боль... Моя привязанность к нему исходит из самой глубины сердца».

С годами описывалось все больше случаев, и появилась тенденция, расширяющая и проясняющая главный критерий: страдают не только женщины и не только гетеросексуалы. По крайней мере один пациент

самого де Клерамбо был мужского пола, и впоследствии были выявлены еще многие мужчины. В своем обзоре пациентов, преимущественно мужчин, Муллен и Паф заключают, что мужчины гораздо чаще склонны к навязчивым состояниям и членовредительству. Гомосексуальные случаи отмечены у Муллена и Пафа (1994), Ловетта Доуста и Кристи (1978), у Еноха и соавторов, у Раскина и Салливана (1974) и у Уэнна и Камиа (1990).

Таким образом, критерий диагностики первичного синдрома (для синдрома де Клерамбо), предложенный Енохом и Трезуаном, был принят всеми, кто признает это заболевание: «Неверная убежденность пациента, что он находится в любовной связи с другим человеком, занимающим гораздо более высокое положение, и этот человек влюбился первым и первым сделал шаги к сближению; приступы внезапные, объект заблуждений остается неизменным, пациент находит объяснения парадоксальному поведению объекта; течение болезни хроническое, галлюцинации отсутствуют, побочных эффектов нет».

Муллен и Паф цитируют Переса (1993), который заметил, что рост осведомленности об угрозе, которую представляют больные синдромом де Клерамбо, вызывает массовое принятие законодательных актов для защиты их жертв. Муллен и Паф подчеркивают, что трагедия происходит и у пациентов, и у их жертв: для пациентов любовь становится «изолирующим и отрывающим от общества способом существования, в котором всякая возможность общения с кем-либо другим утрачивается. Для тех, на ком фокусируется нежелательное внимание, трагедия наступает, когда они как минимум испытывают смущение и неудобство от преследований, или же переживают разрыв отношений с близкими, или же, в худшем случае, становятся жертвами насилия на почве обиды, ревности или сексуального желания».

История болезни

П., холост, двадцать восемь лет, отправлен судом на принудительное лечение после рассмотрения дела о покушении на убийство.

П. – второй ребенок в семье, где отец был в солидном возрасте и умер, когда П. было восемь лет. Мать не имела средств к существованию и вышла замуж повторно, когда П. было тринадцать. По его собственному признанию, в детстве П. был впечатлительным и одиноким, имел склонность к мечтаниям и трудно сходилась со сверстниками. Когда мать повторно вышла замуж, он был отправлен в пансион, где учился чуть выше

среднего уровня. Пока он учился, старшая сестра уехала за границу, и больше они не встречались. Он не помнит, чтобы его дразнили или задирали, но и тесной дружбы он ни с кем не завел и, кроме того, считал, что другие ребята смотрят на него свысока, потому что у него не было «отца, которым можно похвастать, как у них». Он поступил в университет, где его замкнутость не исчезла. П. считал, что студенты ведут себя слишком фривольно. Он вступил в Христианское движение студентов и, хотя не пробыл членом общества в течение продолжительного времени, с этого момента начал находить утешение в своей вере. Он закончил исторический факультет университета с низкими оценками и следующие четыре года провел на низкоквалифицированной работе. К этому времени он практически перестал общаться с матерью, которая развелась со вторым мужем, но получила в наследство от сестры большой дом на севере Лондона и некоторую сумму денег.

П. закончил курсы и стал учителем английского языка для иностранцев. Когда он проработал там год, мать умерла, и он стал единственным, так как следов сестры найти не удалось, наследником ее собственности. Он оставил работу и переехал в новый дом, где его изоляция и сила религиозных убеждений только усилились. Он подолгу медитировал «во славу Господа» и выходил на прогулки в пригороды. В течение этого времени он пришел к убеждению, что Бог готовит ему испытание, которое он должен выдержать.

Во время одной из прогулок П. стал участником происшествия с воздушным шаром. Он встретился взглядом с Р., еще одним случайным участником; П. решил, что Р. в тот момент влюбился в него. Поздно ночью П. совершил первый из множества телефонных звонков, чтобы сообщить Р., что его чувство взаимно. П. осознал, что задание Бога состоит в том, чтобы ответить на любовь Р. и «привести его к Господу». Его уверенность возросла, когда он узнал, что Р. – широко известный автор научно-популярных статей, пишущий с атеистической точки зрения. В процессе постижения воли Господа П. не испытывал галлюцинаций.

Далее последовали частые письма, объяснения возле подъезда и уличные ссоры, к сожалению, хорошо знакомые по другим описаниям заболевания. Забавным отражением классического случая, отмеченного самим де Клерамбо, стали «послания», которые Р. передавал ему при помощи занавесок на своих окнах. П. также получал информацию, дотрагиваясь до кустов в палисаднике и прочитывая статьи, опубликованные Р. задолго до их встречи. Р. проживал совместно с гражданской супругой М., и за считанные дни их отношения оказались под

угрозой разрыва вследствие решительного напора П. Позже они расстались. П. в основном пребывал в эйфории, будучи уверенным, что, несмотря на показную враждебность, Р. смирится со своей судьбой и переедет к П. в его большой дом. Он верил, что Р. «играет с ним» и проверяет его преданность.

Вскоре эйфория превратилась в ненависть. П. удалось выкрасть ежедневник М. из ее офиса. Узнав, что в назначенное время Р. должен присутствовать в ресторане, П. нашел наемных убийц. Покушение окончилось ранением в плечо мужчины, обедавшего за соседним столиком. Тогда П. раскаялся и попытался совершить самоубийство в присутствии Р. Эта попытка также закончилась неудачей, П. был арестован и привлечен к суду за покушение в ресторане и за угрозы М. холодным оружием. Суд постановил отправить П. на детальное психиатрическое обследование.

Во время беседы пациент произвел хорошее впечатление, был в нормальной степени подавлен нахождением в переполненной тюремной камере. При первоначальном осмотре, сделанном по требованию его адвоката, диагностирована шизофрения, поэтому было назначено обследование физического и ментального состояния, давшее нормальные результаты, так же как и электроэнцефалограмма. Нарушения мыслительного процесса и галлюцинации отсутствуют. Не обнаружено и других первичных симптомов шизофрении по Шнейдеру (Шнейдер, 1959). П. продемонстрировал визуально-пространственные способности, концентрацию и абстрактное мышление, развитые выше среднего уровня. По шкале Вешлера оценки его интеллекта таковы: вербальная 130, деятельная ПО, итоговая 120. Тестирование по Бентону не выявило отклонений. По вешлеровской шкале краткосрочная память восприимчива к простому и сложному материалу.

П. заявил, что Р. по-прежнему любит его, доказывая это фактом, что Р. помешал самоубийству П. Также на предварительном слушании в суде П. получил от него «любовное послание». П. сожалеет, что устраивал покушение на жизнь Р., и понимает, что его дальнейшая судьба станет испытанием одновременно его веры в Бога и его любви к Р. Пациент изложил эти утверждения ясно и последовательно. У нас сложилось впечатление о наличии замкнутой системы заблуждений. Были назначены медикаментозное лечение (5 мг пимозиды ежедневно) и сеансы психотерапии. Однако через шесть месяцев улучшения не наступило. Тем временем суд постановил, что он должен бессрочно содержаться в закрытой психиатрической клинике. Мы провели осмотр П. спустя шесть

месяцев после приговора: несмотря на новые медикаментозные назначения, его заблуждения не рассеялись, П. все с той же убежденностью верил, что любовь Р. к нему не уменьшилась и благодаря страданиям однажды он приведет Р. к Богу. П. ежедневно пишет Р. письма, которые забираются персоналом, но не отправляются, чтобы уберечь Р. от стресса. Наблюдения за пациентом будут продолжены.

Обсуждение

Эллис и Мелсоп (1985) заключили, что синдром де Клерамбо есть этиологическое гетерогенное расстройство. Среди этиологических причин назывались алкоголизм, аборт, постамфетаминовая депрессия, эпилепсия, травмы головы и неврологические расстройства. Ни одна из них не применима к данному случаю. Рассмотрев разные описания доболезненных состояний наиболее ярких случаев, Муллен и Паф составляют образ «не вписывающейся в социум личности, изолированной от других из-за своей чувствительности, подозрительности или вымышленного превосходства. Такой человек обычно живет социально не наполненной жизнью... потребность в общении уравновешена боязнью быть отвергнутым, а также страхом перед интимными отношениями, как сексуальными, так и эмоциональными».

Важная перемена в жизни нашего пациента наступила в момент, когда он унаследовал дом своей матери; неудачные попытки завязать близкие отношения в новых обстоятельствах и вовсе прекратились, П. был освобожден от необходимости зарабатывать себе на жизнь и разорвал остававшиеся контакты с коллегами по языковой школе и с бывшей домохозяйкой. Именно тогда, на фоне абсолютного одиночества, у него появилась идея, что он сдает экзамен. Во время загородной прогулки он был случайно вовлечен в стихийно организовавшуюся группу людей, совместно пытавшихся удержать воздушный шар, подхваченный шквальным ветром. Такой переход из «социально не наполненной» жизни к напряженным коллективным действиям мог стать решающим фактором, повлиявшим на развитие синдрома, так как именно после завершения инцидента П. «догадался», что Р. его любит; начало вымышленных отношений сделало невозможным для П. возврат к прежней изоляции. Ариети и Мее (1959) предположили, что эротомания может служить защитой от депрессии и одиночества, создавая заверченный интрапсихический универсум.

Страх пациента перед сексуальными отношениями также согласуется с образом, составленным Мулленом и Пафом. Вопрос об эротических намерениях в отношении Р., заданный П. во время обследования, вызвал гнев и возмущение. Хотя многие пациенты-мужчины имеют специфические и довольно навязчивые сексуальные представления о своем субъекте, некоторые из них, подобно большинству страдающих от этого расстройства женщин, в целях самозащиты представляют себе весьма расплывчато, что именно они хотят получить от объекта своей любви. Енох и Трезуан цитируют Эскирола (1772-1840), который вывел наблюдение, что «больные эротоманией никогда не переходят установленных границ, они остаются целомудренными». Также Бакнел и Тьюк в середине девятнадцатого века считали, что собственно эротомания всегда имеет «сентиментальную форму».

Наш случай подтверждает мнение ряда исследователей (Трезуан, 1967; Симен, 1978; Муллен и Паф), что заболевание бывает связано с отсутствием или потерей отца. На текущем этапе еще предстоит определить, связывал ли П. сорокасемилетнего Р., успешного, социализированного человека, с образом отца либо представлял его идеалом, достойным восхищения.

Была выявлена, особенно в работах последних лет, несомненная связь между мужской эротоманией и склонностью к насилию (Гайн и Деспаруа, 1995; Гармон, Роснер и Оуэнс, 1995; Мензис, Федоров, Грин и Айзексон, 1995). Чтобы защитить объект любви от атак пациента, последнего зачастую необходимо принудительно госпитализировать (Енох и Трезуан; Муллен и Паф). В нашем случае склонность к насилию выходит на первый план, особенно если учесть ее последствия и выдвинутое уголовное обвинение. П. находился в ресторане, чтобы наблюдать, как убийцы расправятся с Р. Когда те перепутали объект нападения, он постарался вмешаться. Позже он явно раскаялся и в присутствии Р. и М. перенаправил насилие в сторону самого себя. Так как заблуждения Р. не претерпели изменений, а потенциальная опасность сохранялась, адекватной мерой послужило принудительное лечение в охраняемой лечебнице.

Ловетт Доуст и Кристи в обзоре восьми случаев заболевания выдвигают предположение, что «интимные отношения могут быть расположены между патологическими аспектами любви и церковными догматами для страстных верующих». Есть основания полагать, что запреты, установленные в некоторых сектах на проявления сексуальности, имплицитованы на некоторые патологии. Более того, священники, принявшие целибат, в силу своей недоступности становятся более

привлекательными субъектами для страдающих синдромом де Клерамбо. Другие служители церкви становились субъектами эротических заблуждений в силу своего статуса среди прихожан (Енох и Трезуан). Однако П. не принадлежал ни к одной секте, а объект его заблуждений был атеистом. Религиозные убеждения П. предшествовали психической патологии, и эти убеждения окрепли после переезда в дом матери, когда изоляция стала полной. Его отношения с Богом были очень личными и служили заменой других близких отношений. Миссия «привести Р. к Богу» может быть рассмотрена как попытка полностью достроить внутренний психический мир, в котором обобщенное религиозное сострадание объединяется с вымышленной любовью. Во время беседы П. утверждал, что никогда не слышал Божьего гласа и не наблюдал явлений. Он «узнал» о Господней воле и о своей цели таким же обобщенным образом, как большинство других людей, ищущих религиозного откровения. Во врачебной литературе не удалось найти ссылок на другие случаи, где религиозные чувства, то есть любовь к Богу, так просто переносились бы на субъект.

Заключение

Состояние П. удовлетворяет всем, кроме одного, диагностическим критериям, предложенным Енохом и Трезуаном для определения синдрома в чистом виде: П. ошибочно убежден в существовании любовных отношений с Р., причем, по его мнению, Р. первым влюбился и первым сделал шаг навстречу. Заболевание возникло неожиданно. Суть заблуждений остается неизменной. Он с готовностью объясняет парадоксальное поведение Р., что дает основания считать заболевание хроническим. П. не испытывает галлюцинаций и нарушений в мыслительном процессе. (Однако следует заметить, что при первой встрече П. не мог знать о «превосходящем социальном статусе» Р.) Количество совпадений в диагнозах и в характеристиках П. накануне заболевания с данными по другим пациентам подтверждает взгляд на синдром как на отдельную нозологическую единицу.

Большинству специалистов пессимистический исход кажется наиболее вероятным. У де Клерамбо описаны случаи эротомании в чистом виде, длившиеся без существенных изменений от семи до тридцати семи лет. Последующие данные подтверждают, что данная форма любви является наиболее стойкой и часто заканчивается только со смертью пациента.

Объектам одержимости больных синдромом де Клерамбо может угрожать насилие, стресс, физические и сексуальные домогательства и даже смерть. Хотя в нашем случае семья Р. и М. воссоединилась, а позже усыновила ребенка, другим жертвам приходилось разводиться, эмигрировать, а кому-то обращаться за помощью к психиатру вследствие депрессий, наступивших от общения с больными. Таким образом, важно продолжать совершенствовать диагностические критерии и так же важно доводить их до сведения других психиатров. Пациент с расстройствами на почве заблуждений вряд ли обратится за помощью, так как в первую очередь сам не осознает своей болезни. Его друзья и члены семьи также вряд ли признают, что он нуждается в лечении, ибо, как замечают Муллен и Паф, «патологические проявления любви не только касаются, но и пересекаются с нормальными чувствами, а признать, что одно из прекраснейших чувств может слиться с психопатологией, всегда непросто».

Список литературы

Arieti, S. and Meth, M. (eds) (1959) American Handbook of Psychiatry, Vol. 1, Basic Books, New York, pp. 525, 551.

Bucknell, J. C and Tuke, D. H (1882) A Manual of Psychological Medicine, 2nd edn, Churchill, London.

De Clerambault, C G (1942) «Les Psychoses passionelles». In Oeuvres Psychiatriques, pp. 315—322. Paris; Presses Universitaires.

El-Assra, A. (1989) «Erotomania in a Saudi Woman», British Journal of Psychiatry, 153, 830-833.

Ellis, P. and Mellsop, G. (1985) British Journal of Psychiatry 146, 90.

Enoch, M. D. and Trethowan, W. H. (1979) Uncommon Psychiatric Syndromes, Bristol; John Wright.

Esquirol, J. E. D. (1845) Mental Maladies: A Treatise On Insanity (trans. R. de Saussure, 1965), New York; Hafner.

Gagne, P. and Desparois, L. (1995) «L'erotomanie male: un type de harcèlement sexuel dangereux». Revue Ca-nadienne de Psychiatrie, 40, 136—141.

Harmon, R. B. Rosner, R. and Owens, H (1995) «Obsessional harassment in a criminal court population». Journal of Forensic Sciences, 42, 188—196.

Hollander, M. H. and Callahan, A. S. (1975) Archives of General Psychiatry. 32, 1574.

Lovett Doust, J. W. and Christie, H. (1978) «The pathology of love: some

clinical variants of de Clerambault's syndrome». *Social Science and Medicine*, 12, 99-106.

Menzies, R. P. Eederoff, J. P. Green, C. M. and Isaacson, K. (1995) «Prediction of dangerous behaviour in male erotomania». *British Journal of Psychiatry*, 166, 529-536.

Mullen, P. E. and Pathe, M. (1994) «The pathological extensions of love». *British Journal of Psychiatry*, 165, 614-623.

Perez, C. (1993) «Stalking: when does obsession become a crime?». *American Journal of Criminal Law*, 20, 263-280.

Raskin, D. and Sullivan, K. E. (1974) «Erotomania». *American Journal of Psychiatry*, 131, 1033-1035.

Schneider, K. (1959) «Clinical Psychopathology» (trans. M. W. Hamilton), New York; Grune & Stratton.

Seeman, M. V. (1978) «Delusional loving». *Archives of General Psychiatry*, 35, 1265-1267.

Signer, J.G. and Cummings, J. L. (1987) «De Clerambault's syndrome in organic affective disorder». *British Journal of Psychiatry*, 151, 404-407.

Trethowan, W. H. (1967) «Erotomania – an old disorder reconsidered». *Alta*, 2, 79—86.

Wenn, R. and Camia, A. (1990) «Homosexual erotomania». *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 85, 78-82.

Приложение 2

Письмо, переданное мистером Дж. Перри, написанное им незадолго до окончания третьего года принудительного лечения. Оригинал подшит к истории болезни. Копия направлена доктору Р. Уэнну по его просьбе.

Вторник.

Дорогой Джо, я проснулся на рассвете. Я выскользнул из кровати, надел халат и потихоньку, чтобы не разбудить ночных дежурных, подошел к восточному окну. Видишь, каким целеустремленным я могу быть, когда ты добр ко мне! Ты абсолютно прав: когда солнце освещает деревья сзади, они кажутся черными. Самые верхние веточки переплетаются на фоне неба, как проводки внутри какого-то механизма. Но я не стал думать об этом, потому что день был безоблачный, и спустя десять минут над кронами деревьев засияло не что иное, как слава Господа и любовь. Наша любовь! Сперва омывая меня, затем согревая болью. Я стоял там, развернув плечи, безвольно опустив руки, и глубоко дышал. Заструились слезы старой боли. Но радостно! Тысячный день, мое тысячное письмо, и ты сообщаем, что я все делаю правильно. Вначале ты не видел в этом смысла и навлек на нас горечь разлуки. Теперь ты знаешь, каждый проведенный здесь мною день на один крошечный шаг приближает тебя к светлому сиянию, к Его любви; причина, открывшаяся тебе лишь теперь, заключается в том, что ты вплотную подошел к тому, чтобы беспомощно и радостно повернуться навстречу Его теплу. Назад дороги нет, Джо! Когда ты принадлежишь Ему, ты становишься и моим. Такое счастье несколько смущает меня. Ведь я узник. На окнах решетки, двери на ночь запираются, круглые сутки меня окружают шаркающие, бормочущие, слюнявые идиоты, а того, кто не шаркает, необходимо изолировать. Персонал, особенно мужчины – жестокие скоты, они-то и есть настоящие психи, которым каким-то образом удалось просочиться на ту сторону. Сигаретный дым, окна, которые не открывают, моча, реклама по телевизору. Этот мир я описывал тебе уже тысячу раз. Он должен был раздавить меня. Вместо этого я, наоборот, яснее, чем когда-либо, вижу цель. Никогда я не чувствовал такой свободы. Я парю, я так счастлив, Джо! Если бы они знали, как я буду здесь счастлив, они не стали бы запирают меня. Вынужден прерваться, чтобы обнять самого себя. День за днем я зарабатываю наше счастье, и наплевать, если на это уйдет вся моя жизнь. Тысяча дней – это

письмо юбилейное. Ты знаешь это, но я должен сказать еще раз: я обожаю тебя, живу ради тебя, я люблю тебя. Спасибо за твою любовь, спасибо, что ты принял меня, спасибо, что видишь все, что я делаю во имя нашей любви. Скорее пришли мне новое послание и помни: вера – это радость.

Джесд

notes

Примечания

«Карлуччо» – магазин итальянских деликатесов. – *Здесь и далее прим. переводчика.*

Фокачча – пряный хлеб.

«Бертрам Рота» – известный букинистический магазин.

Бреконские Маяки – две горы в Уэльсе, графство Брекнок – в старину на этих горах зажигали сигнальные огни.

Кокни – житель Лондона, уроженец Ист-Энда, представитель рабочих слоев населения и один из самых известных типов лондонского просторечия.

Герои американского цикла короткометражных эксцентричных комедий 1920-х гг.

Джон Мильтон. Потерянный рай. Книга первая. Перевод Арк. Штейнберга.

(Джеймс Генри) Ли Хант (1784 – 1859) – английский эссеист, поэт, критик, а также издатель Перси Биши Шелли и Джона Китса.

Trouble (*англ.*) – неприятность, rubble (*англ.*) – булыжник.

Г. К. Честертон, стихотворение «The Rolling Road».

«Диллонс» – крупный антикварный магазин в Лондоне.

Де Клерамбо, Жорж Готье (1872-1934) – французский психиатр.

Джон Харрисон (1693-1776) – изобретатель морского хронометра, т. е. часов, ход которых не зависит от географического положения; четвертая модель (1764) является наиболее законченной.

Мишер, Иоганн Фридрих (1844-1895) – швейцарский врач, первооткрыватель нуклеиновых кислот.

Джон Китс. Ода к греческой вазе. Перевод В. Микушевича.

Перевод Е. Витковского.

Имеется в виду Дик Роу, исполнительный продюсер компании «Декка» в 1961 году.

Помни о смерти (*лат.*).

Граппа – итальянский виноградный алкогольный напиток.

Песня Чака Берри называется «Johnny B. Goode».

Здесь – отдельные апартаменты (*фр.*).